АЛЕКСАНДР ФРОСТ

# МОРОЗ ИДЁТ ПО СЛЕДУ

СИБИРЬ



ТОМ 3

Александр Фрост

# Мороз идёт по следу. Том 3. Сибирь

«Автор»
2026

**Фрост А.**

Мороз идёт по следу. Том 3. Сибирь / А. Фрост — «Автор», 2026

Февраль 1917 года. Морозов приезжает в Ново-Николаевск — город, которому двадцать три года, где всякий житель приезжий и нет ни одного сыскного отделения. Он начинает с картотеки. Через две недели полицию упраздняют. За тринадцать лет власть в этом городе переменится четыре раза, дважды сгорят архивы, зимой девятнадцатого тиф унесёт столько людей, сколько жило в городе до войны, а он всякий раз будет приходить в отделение и открывать шкаф. Он раскроет убийство сторожа за пятнадцать рублей на брата; разберёт двести пятьдесят три доноса и выведет из списков сто восемнадцать человек; найдёт убитого наборщика по чистым ногтям; сосчитает четыреста одиннадцать хлебных карточек, выписанных на мёртвых; и проверит, наконец, то, что собирал одиннадцать лет, — по методу, который подскажет ему приезжий учёный. А потом перестанет видеть свет, потому что у него состарились глаза. От первого дня в городе без старого до последнего дела, за...

© Фрост А., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Глава 101 6
Глава 102 12
Глава 103 17
Глава 104 22
Глава 105 28
Глава 106 34
Глава 107 40
Глава 108 46
Глава 109 52
Конец ознакомительного фрагмента. 58

# Мороз идёт по следу. Том 3. Сибирь

# Глава 101

Книга двадцать первая. Город без старого

Ново-Николаевск открылся из окна вагона шестнадцатого февраля, на четвёртые сутки пути.

Первым делом Морозов увидел мост.

Мост через Обь стоял в стороне от станции — стальной, на семи каменных быках, длиной в четыреста саженей, — и был он старше города: с него город и начался.

В восемьдесят девятом году сюда пришли строители моста, и на правом берегу, у слияния с Каменкой, встал посёлок в семьсот душ.

К шестнадцатому году в нём жило семьдесят тысяч.

Морозов сошёл на перрон и постоял, оглядываясь.

Он приехал в город, которого в его собственном веке не существовало под этим именем: там, где он вырос, это место называлось иначе и было мегаполисом в полтора миллиона.

Он знал это и не позволял себе думать об этом слишком долго.

Город встретил его иначе, чем Петербург и Москва.

Он был новый.

Не в том смысле, что чистый или благоустроенный: улицы стояли немощёные, и февральская дорога была лучше апрельской только потому, что мёрзлая.

А в том, что в нём не было старого.

Ни кремля, ни монастыря, ни рядов восемнадцатого века, ни улиц, которые помнят Екатерину. Всё, что стояло в Ново-Николаевске, было построено на памяти живущих: собор — двенадцать лет назад, реальное училище — восемь, торговый корпус — шесть.

И люди были такие же.

Морозов, проехавший в извозчике от вокзала до центра, услышал за двадцать минут четыре говора: вятский, полтавский, немецкий и, кажется, латышский.

Здесь всякий был приезжий.

Дорога от Москвы заняла четверо суток, и в этот раз Морозов ехал во втором классе — на прогонные, полагавшиеся при переводе.

Он проехал по той же линии, по которой ехал в мае четырнадцатого и в феврале пятнадцатого, и за три года заметил перемену.

Поезда шли хуже. Вагоны были грязнее. На станциях стало больше солдат — не эшелонами, а по одному и по двое: отпускники, выздоравливающие, отставшие от частей и просто едущие неизвестно куда.

И на всякой станции стояли очереди за кипятком, каких прежде не было.

В Челябинске он простоял четыре часа и в буфете услышал разговор, который записал вечером дословно.

Говорили двое: пожилой купеческого вида и молодой, в шинели.

— Долго ли ещё, — сказал пожилой.

— До весны, — сказал молодой.

— Замирятся?

— Не замирятся, — сказал молодой. — А только до весны.

Морозов записал и приписал сбоку: «Мнѣ до весны — семнадцать дней».

Устраивался он три дня.

Квартиру снял на Кузнецкой, во втором этаже деревянного дома, — две комнаты за двадцать два рубля, что было вдвое против московского и объяснялось просто: город рос быстрее, чем строился, и жилья не хватало.

Дом он выбрал по тем же правилам, что и в Москве: два выхода, чёрная лестница в проходной двор.

Хозяйка, вдова железнодорожного служащего лет пятидесяти, сдавала верх и жила внизу.

Она спросила его о трёх вещах: есть ли семья, пьёт ли и надолго ли.

— Семьи нет. Не пью. Полагаю, надолго.

— Служите?

— По полицейской части.

Женщина посмотрела на него и вдруг сказала:

— А вы, барин, не сердитесь, я вам скажу прямо: у меня в прошлом годе жилец был из полиции, так к нему ходили.

— Кто ходил?

— Известно кто, — сказала она. — Просители. У меня лестница узкая, а они с утра сидели.

— Ко мне ходить не будут, — сказал Морозов.

Он ошибся.

К осени к нему на Кузнецкую ходили, и ходили каждый день.

Нитку через щель приклеил в первый же вечер.

Прежде того он обошёл город пешком.

Он делал это в первый же день в Петербурге и в Москве и делал теперь: три дня по восемь часов, с картой, купленной в книжной лавке за полтора рубля.

К третьему вечеру он знал устройство.

Город лежал на правом берегу Оби, между рекой и железной дорогой, и делился надвое речкой Каменкой.

Правая, главная часть — Николаевский проспект, собор, торговый корпус, банки, реальное училище, дома в два и три этажа, мостовые на четырёх улицах из восьмидесяти.

Левая, за Каменкой, — Закаменская: сплошь деревянная, без мостовых, с мелкими домишками, с ночлежками и с тем населением, какое бывает на окраинах растущих городов.

Мельницы — семь: две в городе, пять по берегу.

Вокзал — с северо-запада, в стороне от центра, и между вокзалом и городом лежала пустая полоса версты в полторы, застроенная складами.

Военный городок — за Каменкой, ещё дальше.

Морозов расчертил карту и записал в тетради:

«Городъ построенъ такъ, что въ немъ нѣтъ середины. Всё разнесено на версты: вокзалъ отдѣльно, лагерь отдѣльно, склады отдѣльно.

Для торговли сіе удобно, для сыска — худо: между этими мѣстами по полторы версты пустыря, и всякій, кто идётъ ночью изъ одного въ другое, никѣмъ не виданъ».

А после пошёл представляться.

Полицейское управление помещалось на Дворцовой, в двухэтажном каменном доме, и приняли его в тот же день.

Начальник — исправник Лаптев, Николай Саввич, человек лет пятидесяти, крупный, с одышкой, — прочёл бумаги и посмотрел на Морозова так, как смотрят на посылку, которую не заказывали.

— Из Москвы, — сказал он. — Чиновник для поручений.

— Так точно.

— По собственному прошению.

— Так точно.

Лаптев положил бумагу.

— Александр Петрович. Я тут двенадцатый год и такого не помню. Ко мне присылали и переводили, но чтобы человек из московского сыскного просился сюда сам — этого не было.

— Понимаю ваше недоумение.

— Не понимаете, — сказал исправник. — Моё недоумение состоит не в том, отчего вы приехали. Мне, признаться, безразлично. Оно в том, что я не знаю, куда вас девать.

Он развёл руками.

— У меня в городе семьдесят тысяч душ и нет сыскного отделения. Есть я, есть четыре пристава по частям, есть надзиратели и городовые. Сыском занимаются все и никто.

— Сколько дел в год?

— По убийствам? — Лаптев подумал. — Двадцать восемь за прошлый год. Из них раскрыто девять.

— А кражи?

— Кражи? — Он усмехнулся. — Кражи, Александр Петрович, у меня в год тысячи полторы. Раскрываем сотни две.

Морозов записал.

— Николай Саввич, а отчего так мало?

— Оттого, что город такой, — сказал исправник. — Вы поймите, тут всё приезжее. За прошлый год в город прибыло тысяч восемь, и это только тех, кто отметился. У меня в частях списков нет, домовых книг половина не ведётся, а всякий второй живёт по чужому виду или без вида вовсе.

Он побарабанил пальцами.

— И плюс мельницы.

— Мельницы?

— Ново-Николаевск, милостивый государь, — мучной город, — сказал Лаптев. — У нас тут семь паровых мельниц, и через них идёт хлеб на всю Россию. Стало быть, деньги. А где деньги, там и прочее.

— А жандармский пункт у вас есть? — спросил Морозов.

Лаптев посмотрел на него.

— Есть, — сказал он. — Отдельно от меня, на Гудимовской. Три офицера и восемь человек.

— И чем занимаются?

— Тем, чем везде, — сказал исправник. — Ведут наблюдение. У них тут, при семидесяти тысячах населения и двенадцати тысячах солдат в запасном полку, дела всегда есть.

— Сколько у них производств?

— Не знаю и знать не хочу, — сказал Лаптев с внезапной злостью. — Александр Петрович, я вам скажу одно, и после мы к этому не вернёмся. Я двенадцать лет служу в этом городе и двенадцать лет прошу людей на сыск. Мне отвечают: нет средств.

Он ткнул пальцем в окно.

— А у них на Гудимовской третий год сидят одиннадцать человек и следят за учителями.

Морозов записал и это.

Он слушал и складывал.

Молодой торговый город на пересечении реки и главной железной дороги. Семьдесят тысяч жителей, из которых половина живёт здесь меньше пяти лет. Хлеб, мельницы, банки. Полторы тысячи краж в год и никакого сыска.

Это был город, устроенный так, что преступление в нём совершать было легко, а расследовать нечем.

— Николай Саввич, — сказал он. — Я вам предложу вот что. Дайте мне месяц и двух человек.

— На что?

— На то, чтобы завести вам картотеку, — сказал Морозов.

Первые десять дней он занимался только этим.

И прежде всего сходил в тюрьму.

Не по делу: он попросил у Лаптева разрешения посмотреть тюремные книги и просидел над ними два дня.

В Ново-Николаевской тюрьме, устроенной на триста мест, сидело шестьсот двенадцать человек.

Морозов выписал из книг всех: имя, статью, срок, откуда, когда поступил.

Работа заняла два дня и показалась Лаптеву блажью.

— Александр Петрович, вам-то они на что? Они сидят.

— Они выйдут, — сказал Морозов.

— Через восемь лет.

— Кто-нибудь и раньше.

Он сказал это, не имея в виду ничего определённого, — и после, в марте, перечитывал эту запись в тетради с неприятным чувством.

Он объяснил Лаптеву, чего хочет, в первый же вечер и объяснил на бумаге.

Он предложил завести три вещи.

Первую: алфавитный указатель всех, кто за последние три года проходил по делам — обвиняемым, подозреваемым или задержанным. С приметами, кличками, адресами и указанием дела.

Вторую: указатель по способу — то есть по тому, как совершено преступление: со взломом, с подбором ключа, с влезанием в окно, с подлогом бумаги.

И третью: указатель похищенного.

— Зачем? — спросил Лаптев.

— Затем, что вы раскрываете двести краж из полутора тысяч, — сказал Морозов. — А если у вас будет указатель по способу, вы через полгода увидите, что триста из этих полутора тысяч сделаны одними и теми же руками.

Исправник посмотрел на него.

— Это в столицах так делают?

— В Петербурге отчасти, — сказал Морозов. — В Москве хуже.

Он не стал прибавлять, что видел такие картотеки в другом месте и в другом веке и что там они помещались не в шкафах.

Лаптев дал ему двух писарей и комнату во втором этаже.

Писарей ему дали двоих, и оба стоят упоминания.

Первый, Кузьменко, лет сорока, служил в управлении девять лет и писал быстро, красиво и совершенно бессмысленно: он переписывал что угодно, не читая.

Второй, Шумский, был из студентов реального училища, девятнадцати лет, взят на службу по бедности.

Он читал.

На третий день он поднял голову и спросил:

— Александр Петрович, а зачем два указателя? Ежели человек в первом есть, зачем он ещё и во втором?

— Оттого, что в первом он по фамилии, а во втором — по тому, как работает, — сказал Морозов. — Вы поймите: фамилию мы знаем не всегда. А как влезли в окно — знаем всегда.

Шумский подумал.

— Стало быть, второй указатель для тех, кого мы не знаем.

— Именно.

— Так его и надо вести первым, — сказал студент.

Морозов посмотрел на него и подумал, что за четыре года это первый человек в этом веке, который дошёл до этого сам, за три дня.

Морозов работал по двенадцать часов и к первому марта успел немногое: пятьсот шестьдесят карточек по людям и сто двадцать по способам.

Это была капля.

Но за эти десять дней он выучил город.

Он выучил его так, как выучивал всякий город за четыре года: не по улицам, а по делам.

И выучил ещё одно, чего в Петербурге и Москве не было.

В Ново-Николаевске почти не было бедных в том смысле, в каком они были в столицах.

Не было потомственной нищеты: ночлежек с людьми в третьем поколении, кварталов, где живут пятьдесят лет одинаково плохо, Хитровки и Сенной.

Здесь бедные были новые: приехали два года назад, не устроились и живут в Закаменской в развалюхе.

И всякий из них полагал, что это временно.

Морозов записал это и приписал: «Городъ, гдѣ всѣ полагаютъ, что нынѣшнее ихъ положеніе временное, работаетъ вдвое и терпитъ вчетверо.

А ежели они однажды сообразятъ, что оно не временное, — вотъ тогда и будетъ худо».

Из пятисот шестидесяти карточек складывалось следующее.

Что в Ново-Николаевске четыре разряда преступного люда, и разряды эти почти не пересекаются.

Первый — свои, местные, выросшие тут: воры-домушники, скупщики, шулера. Их немного, человек полтораста, и они друг друга знают.

Второй — пришлые: те, кто приехал за последние годы с волной. Этих больше всего, и они опаснее, потому что их никто не знает в лицо.

Третий — беглые. Ново-Николаевск стоит на дороге, и через него идут все: бежавшие с каторги, с поселения, с работ, из плена.

И четвёртый, о котором Морозов узнал только здесь.

Пленные.

В городе с пятнадцатого года стоял лагерь для военнопленных — один из крупнейших в Сибири, тысяч на десять человек, в военном городке за Каменкой.

Австрийцы, венгры, немцы, чехи, славяне.

Часть их работала: на мельницах, на строительстве, в мастерских, у частных лиц. Часть сидела за проволокой.

И часть — Морозов насчитал по карточкам сорок один случай за два года — бежала.

— Куда они бегут? — спросил он у Лаптева.

— Никуда, — сказал исправник. — Бегут они, Александр Петрович, не в Австрию, а из лагеря. Их ловят через неделю в городе, на квартирах, у баб.

— И что с ними делают?

— Возвращают.

Морозов записал и это.

Февраль в Ново-Николаевске оказался холоднее московского и суше.

Морозов, ходивший пешком, выучил за две недели, чего стоит сибирская зима без привычки: на двадцати пяти градусах при ветре с Оби лицо схватывает за десять минут.

Он купил на базаре шапку и рукавицы и записал расход.

И отметил ещё одно, к делу не относящееся.

В этом городе на улицах было много детей.

Не беспризорных — обыкновенных, гуляющих: город был молодой, семьи в нём были молодые, и на семьдесят тысяч жителей приходилось школьников больше, чем он видел где-либо.

Он записал и это, а после, в тетради, приписал:

«Городъ, гдѣ много дѣтей, — городъ, который полагаетъ, что у него есть будущее».

Двадцать пятого февраля он подал Лаптеву записку на четырёх листах — первую свою записку в этом городе.

В ней излагалось, что при таком составе населения и при отсутствии сыскной части раскрываемость иначе как случайной быть не может; что городу необходимо сыскное отделение хотя бы из четырёх чиновников; что стоить это будет около шести тысяч в год; и что расход этот окупится в первый же год возвращённым имуществом.

Лаптев прочёл, вздохнул и подписал.

— Пошлю в губернию, — сказал он. — В Томск.

— И что будет?

— А ничего не будет, — сказал исправник. — В губернии нынче не до нас. Там второй месяц пишут о том, что в столицах неспокойно.

Он оказался прав дважды.

Ответа из Томска не пришло.

А второго марта, в четверг, в Ново-Николаевск пришла телеграмма о том, что в Петрограде переворот.

# Глава 102

Телеграмма пришла второго марта, к вечеру.

Она была не одна: в тот день на телеграф Ново-Николаевска пришло с десяток сообщений, и все они противоречили друг другу.

В одной говорилось о беспорядках в Петрограде. В другой — о том, что Государственная дума образовала комитет. В третьей — что порядок восстановлен.

Город узнал об этом третьего марта.

Морозов запомнил этот день по часам, потому что был в тот день на службе с восьми утра.

К десяти в управление пришёл первый слух.

К полудню на Николаевском проспекте стояли группами и читали телеграммы, вывешенные у редакции «Алтайского дела».

К двум часам появились красные банты.

Морозов, вышедший в третьем часу из управления, прошёл по проспекту до собора и обратно и увидел то, что после записал в тетрадь дословно.

Он увидел город, который не знал, что делать, и оттого делал то, что видел в газетах.

Толпа была не толпа: люди стояли кучками по десять-двадцать человек, читали, спорили и расходились. Гимназисты бегали с листовками. Кто-то у Городского корпуса произносил речь, и его слушали человек сорок.

Ни выстрелов, ни драк, ни битых стёкол.

И — что Морозов отметил особо — ни одного городового на улице.

Морозов, вернувшись в тот вечер домой, сел и записал в тетради то, что обдумывал четыре года.

«3 марта 1917 г.

Началось.

Я зналъ это число съ 1913 года и четыре года представлялъ себѣ, какъ оно будетъ выглядѣть.

Оказалось — не такъ.

Я представлялъ себѣ ужасъ или ликованіе. А тутъ ни того, ни другого: люди стоятъ группами и читаютъ телеграммы, и главное въ ихъ лицахъ не радость и не страхъ, а недоумѣніе.

Никто не знаетъ, что дѣлать.

И вотъ это, я полагаю, и есть самое опасное. Толпу, которая знаетъ, чего хочетъ, можно понять. А толпа, которая не знаетъ, дѣлаетъ то, что ей скажетъ первый громкій человѣкъ».

Городовые исчезли к вечеру третьего марта.

Не по приказу: приказа ещё не было. Они просто перестали выходить на посты, потому что к вечеру в городе стало известно, что в Петрограде полицию бьют.

Четвёртого марта в Ново-Николаевске образовался Комитет общественного порядка и безопасности.

Морозов, узнав состав, переписал его себе в тетрадь — двадцать три фамилии — и разобрал.

Гласных городской думы — семеро, все люди купеческие и торговые.

От военных — трое, из них двое от запасного полка и один от лагеря военнопленных.

От кооперативов — четверо; в Сибири кооперация была сильна, и это Морозов отметил особо.

От рабочих организаций — пятеро.

От партий — четверо: два социал-демократа, эсер и человек, назвавшийся беспартийным социалистом.

Он посмотрел на этот список и записал внизу:

«Двадцать три человѣка, изъ коихъ большинство другъ съ другомъ не согласны ни въ чёмъ.

Такая власть можетъ дѣйствовать, покуда всѣ согласны въ одномъ — что прежняя дурна.

А какъ этотъ вопросъ рѣшится, они станутъ дѣлиться».

Он ошибся на два месяца: делиться начали в мае.

Он образовался тем же способом, каким такие комитеты образовывались в те дни по всей России: собрались гласные городской думы, представители от военных, от кооперативов, от рабочих организаций и от партий, — и объявили себя властью.

Морозов, узнав об этом, пошёл к Лаптеву.

Исправник сидел у себя, и на столе у него лежали бумаги, которые он не читал.

— Николай Саввич.

— А, Александр Петрович, — сказал Лаптев. — Садитесь. Вы, я слышал, картотеку свою делаете.

— Делаю.

— Бросьте, — сказал исправник. — Не сегодня завтра нас разгонят.

— Кто?

— Они, — сказал Лаптев и показал головой в окно. — Комитет.

Морозов, выходя от него, задал последний вопрос — и задал не о службе.

— Николай Саввич. А вы что будете делать?

Лаптев посмотрел на него.

— Не знаю, — сказал он. — Мне пятьдесят один год, у меня жена и дочь на выданье. Я двадцать девять лет по полицейской части.

— В милицию не пойдёте?

— Не возьмут, — сказал исправник. — Городового возьмут, надзирателя возьмут, а исправника — нет. Я, Александр Петрович, для них лицо.

Он помолчал.

— И правильно не возьмут. Ежели бы я в семнадцатом году был по ту сторону, я бы себя тоже не взял.

Он оказался прав через два дня.

Шестого марта Комитет общественного порядка постановил: полицию в городе упразднить, чинов её от должностей отстранить, оружие сдать.

Взамен образовать народную милицию.

Постановление это привезли в управление в четвёртом часу пополудни трое: молодой присяжный поверенный, назначенный комиссаром, студент и рабочий с мельницы.

Читал его присяжный поверенный, стоя посреди канцелярии, при всех.

Морозов слушал у стены.

Он видел это в четвёртый раз в жизни — верней, в первый, потому что в прежнем своём веке он это только читал.

И, слушая, отмечал то, что отмечал всегда.

Что комиссару лет двадцать восемь.

Что бумага в его руках написана от руки и не имеет ни номера, ни печати.

Что чины, стоявшие в канцелярии — человек пятнадцать, — слушают молча, и на лицах у них не возмущение, а облегчение: три дня они не знали, что с ними будет, и наконец узнали.

И что исправник Лаптев, дослушав, встал и сказал:

— Слушаюсь.

После этого он снял со стены портрет и вышел.

Морозов, слушая у стены, поймал себя на неожиданном.

Он ждал, что ему будет тяжело.

Он четыре с половиной года служил в этой полиции, и она была единственным, что держало его в этом веке: чин, стол, бумага, право входить в чужие дома.

И вот при нём её отменяли — за десять минут, бумагой без номера.

Тяжело не было.

Он разобрал, отчего, в тот же вечер, и записал.

«Мнѣ не жаль ея потому, что я четыре года служилъ не ей.

Я служилъ шести или семи людямъ, которымъ помогъ, и одиннадцати, которыхъ посадилъ.

Учрежденіе было мнѣ орудіемъ, и не болѣе того.

А орудіе можно перемѣнить».

И ниже, помедлив, приписал:

«Сіе, впрочемъ, легко писать человѣку, у котораго нѣтъ ни пенсіи, ни выслуги, ни дѣтей.

Тѣмъ пятнадцати, что стояли рядомъ со мною въ канцеляріи, нынче хуже, чѣмъ мнѣ».

Дальнейшее заняло неделю.

Оружие сдали. Форму велено было не носить. Чинов полиции отстранили от должностей всех, до последнего городового.

Часть их — человек тридцать — тут же записалась в милицию и была принята.

Часть уехала.

А четверых арестовали — не за что-нибудь конкретное, а потому, что на них поступили жалобы, и комитет счёл нужным их задержать до разбора.

Четверых арестованных Морозов знал по картотеке всех.

Один был помощник пристава Второй части, человек, о котором в его карточке значилось шесть жалоб за три года: брал с торговцев.

Второй — надзиратель, известный тем, что бил задержанных.

А двое остальных были городовые, попавшие под арест потому, что на них указала толпа, и указала, судя по всему, наугад.

Морозов сходил к Клементьеву и сказал об этом.

— Виктор Аркадьевич, двоих из четверых вы держите зря.

— Откуда вы знаете?

— Из своих карточек, — сказал Морозов. — На двоих есть жалобы, и жалобы серьёзные. На двоих нет ничего.

— И что вы предлагаете?

— Разобрать, — сказал он. — Не выпустить, а разобрать. Ежели вы их продержите месяц без разбора, то через год они будут говорить, что при старом порядке было лучше, — и, что хуже, будут правы.

Клементьев разобрал через неделю.

Двоих выпустили, двоих оставили и передали следователю.

Морозова не арестовали и в милицию не позвали.

Он оказался в положении, которого не предвидел: его просто не заметили.

Чиновник для поручений, прибывший три недели назад из Москвы, не успевший занять должности и не числившийся ни в одной части, — он не подходил ни под одну графу.

Его не отстранили, потому что не от чего было отстранять.

Восьмого марта он пришёл в управление и обнаружил, что комнату во втором этаже, где стояла его картотека, заняли под канцелярию милиции.

Карточки — пятьсот шестьдесят по людям и сто двадцать по способам — были сложены в два ящика и вынесены в коридор.

Морозов стоял над этими ящиками минуты три.

Потом сходил вниз, взял у сторожа тележку, погрузил оба ящика и увёз к себе на Кузнецкую.

Это заняло два часа и никого не заинтересовало.

Дальше было хуже, и хуже стало быстро.

Одиннадцатого марта в Ново-Николаевске начали жечь бумаги.

Жгли не всё и жгли не по приказу.

Жгли дела политического характера — по указанию комитета, торжественно, на площади, при публике: списки поднадзорных, переписку жандармского пункта, донесения.

Морозов на это смотрел.

Он стоял в толпе, среди гимназистов и приказчиков, и смотрел, как из окон второго этажа выбрасывают связки бумаг, а внизу их складывают в костёр.

Он не вмешивался.

Он понимал, что там, в этих связках, — тысячи листов доносов, слежек и чужих сломанных жизней, и что люди, которые их жгут, имеют на это право более всякого другого.

И одновременно — как сыщик, четыре года работавший бумагой, — понимал, что вместе с политическими делами в костёр летит и то, что к политике отношения не имеет.

Он убедился в этом на другой день.

Одно он всё-таки спас, и спас случайно.

Одиннадцатого вечером, проходя мимо, он увидел, как из окна выбросили связку, и связка разошлась в воздухе.

Листы разлетелись по площади.

Мальчишки их подбирали и жгли отдельно, для потехи.

Морозов подобрал десятка полтора и, отойдя к фонарю, посмотрел.

Это были дактилоскопические карты.

Он собрал их все, какие нашёл, — сорок одну, — и унёс к себе.

Сорок одна карта из семисот, заведённых в этом городе за три года.

Двенадцатого марта он пришёл в управление и попросил у нового делопроизводителя — того самого студента — журнал происшествий за пятнадцатый и шестнадцатый годы.

— Нету, — сказал студент.

— Как нету?

— Сожгли, — сказал он и, увидев лицо Морозова, прибавил: — А что? Это же полицейские бумаги.

— Это журнал происшествий, — сказал Морозов. — Там записано, у кого что украли за два года.

Студент моргнул.

— Не знаю, — сказал он. — Их из шкафа выносили связками. Может, и попал.

Морозов пошёл смотреть.

Шёл он туда с той же мыслью, с какой ходил в архивы четыре года: что бумага, которую сегодня некому читать, через год оказывается единственной.

За четыре года он трижды раскрыл дело по бумаге, которую никто не считал нужной: по книге заказов обувной мастерской за девятьсот восьмой год, по книге выдачи паспортов за шестой и по железнодорожным требованиям за август пятнадцатого.

Все три эти бумаги были такие же — никому не нужные и сохранённые по случайности.

Он провёл в управлении весь день и к вечеру установил, что уцелело и что нет.

Уцелело: текущие дела шестнадцатого и семнадцатого годов, лежавшие у приставов по частям.

Погибло: журналы происшествий за двенадцатый — пятнадцатый годы, алфавит судимых, реестр похищенного за четыре года и — почти целиком — дактилоскопическая часть, заведённая в четырнадцатом году и хранившаяся в том же шкафу, что и жандармские бумаги.

Он вышел на улицу и постоял.

Четыре года в этом веке он твердил одно и то же — Пересветову, Ярцеву, уряднику Плахову: бумага бессмертна, бумага переживёт всех, записывайте, пусть лежит.

За три дня в этом городе сгорело четыре года бумаги.

Он попробовал спасти то, что ещё можно было спасти, и попробовал дважды.

Первый раз — двенадцатого марта, придя к тому же студенту-делопроизводителю с предложением разобрать оставшиеся связки прежде, чем жечь: отделить политическое от уголовного.

— Так их не разберёшь, — сказал студент. — Они в одних шкафах лежали.

— Оттого и надо разбирать.

— Александр Петрович, — сказал тот, — у нас три человека и двести пудов бумаги.

Второй раз — четырнадцатого, уже в комитете.

Морозов подал записку на полторы страницы: что уничтожение уголовных дел и учётов лишает город возможности разыскивать преступников; что политические дела следует уничтожать или передавать в архив по разбору, но что журналы происшествий, алфавиты судимых и дактилоскопические карты к политике отношения не имеют.

Записку прочли.

На заседании о ней говорили, по словам Клементьева, четыре минуты.

Постановили: принять к сведению.

К тому дню жечь было уже почти нечего.

А пятнадцатого марта пришло третье, и вот это оказалось хуже пожара.

Амнистия.

Временное правительство объявило амнистию — политическим полную, а по общеуголовным делам сокращение сроков наполовину и освобождение тех, кому оставалось немного.

В Ново-Николаевской тюрьме сидело около шестисот человек.

Вышло из неё в течение марта — Морозов после установил точно — двести восемьдесят четыре.

Из них политических было девятнадцать.

Двести шестьдесят пять человек, вышедших на улицы города в марте семнадцатого года, сидели за кражи, грабежи, разбой и убийства.

Морозов узнал об этом шестнадцатого и в тот же вечер пришёл к бывшему исправнику Лаптеву домой.

Лаптев сидел в халате, при керосиновой лампе, и был нетрезв — не пьян, а именно нетрезв: в той стадии, когда человек говорит правду.

— А, — сказал он. — Столичный. Проходите.

— Николай Саввич, я по делу.

— Нету дел, — сказал Лаптев. — Меня отстранили. Я нынче частное лицо, Александр Петрович, и второй раз в жизни не знаю, что мне делать до обеда.

Морозов сел.

— Из тюрьмы вышло двести восемьдесят четыре человека.

— Знаю.

— Из них двести шестьдесят пять — уголовные.

— И это знаю, — сказал бывший исправник.

— И что будет?

Лаптев посмотрел на него мутно и вдруг усмехнулся.

— А вы не догадываетесь?

— Догадываюсь, — сказал Морозов. — Я хочу знать, что об этом думаете вы.

Лаптев налил себе и не выпил.

— Я думаю, — сказал он, — что через месяц в этом городе будет то, чего он не видел за двадцать три года.

# Глава 103

Лаптев ошибся в сроке.

Началось не через месяц, а через три недели.

Двадцать девятого марта на Инской улице, во дворе дома купца Сычёва, был найден мёртвым сторож мучного склада.

Тридцать первого — ограблена лавка на Барнаульской, с побоями хозяину.

Второго апреля — взломана квартира на Асинкритовской, унесено на четыреста рублей.

К середине апреля в городе, где за весь шестнадцатый год случилось двадцать восемь убийств, случилось девять за три недели.

Милиция не справлялась, и не справлялась не оттого, что была плоха.

Морозов, наблюдавший за ней со стороны месяц, изложил её положение в тетради — и изложил без всякого злорадства, потому что злорадствовать тут было нечему.

Народная милиция Ново-Николаевска состояла к апрелю из ста семнадцати человек.

Из них тридцать один — бывшие городовые и надзиратели, то есть люди, знающие дело.

Восемьдесят шесть — новые: студенты, приказчики, рабочие с мельниц, солдаты из запасного полка.

Ни один из этих восьмидесяти шести не умел ни составить протокол, ни осмотреть место, ни допросить.

Жалованья им положили сто двадцать рублей — в полтора раза больше городового, — и это было единственное, что делалось разумно.

Начальником милиции стал тот самый молодой присяжный поверенный, Клементьев Виктор Аркадьевич, двадцати восьми лет, честный, деятельный и не знающий о розыске ничего.

К нему Морозов и пришёл шестнадцатого апреля.

Он пришёл сам, не дожидаясь, чтобы позвали, и пришёл с бумагой.

Бумага была на шести листах и называлась: «О положении розыскной части в городе».

Клементьев принял его через два часа ожидания.

Он был в шинели без погон, небрит и, судя по всему, третий день ночевал в управлении.

— Морозов, — сказал он, прочитав визитную карточку. — Вы из бывших полицейских?

— Из бывших чиновников для поручений, — сказал Морозов. — Служил в Петербурге и в Москве. Здесь три недели, должности занять не успел.

— И чего вы хотите?

— Работать, — сказал Морозов.

Клементьев поднял глаза.

— Вы понимаете, что мы упразднили полицию?

— Понимаю. И полагаю, что правильно упразднили.

Присяжный поверенный посмотрел на него внимательнее.

— Отчего же правильно?

— Оттого, что полиция в этой стране тридцать лет делала две работы разом, — сказал Морозов. — Ловила воров и следила за людьми. И вторая работа съела первую: у вас в этом городе жандармский пункт вёл сто сорок дел о неблагонадёжных, а сыскного отделения не было вовсе.

Он положил на стол свою бумагу.

— Вы разогнали тех, кто следил. Это правильно. А вместе с ними разогнали тех, кто ловил, — и вот это, Виктор Аркадьевич, обойдётся городу дорого.

Клементьев читал шесть листов минут двадцать.

В них было изложено:

что за март и половину апреля в городе совершено девять убийств, сорок один грабёж и около четырёхсот краж, из которых раскрыто одиннадцать;

что из тюрьмы по амнистии освобождено двести восемьдесят четыре человека, из них двести шестьдесят пять по общеуголовным делам, и что список их милиции не передан;

что журналы происшествий за четыре года, алфавит судимых и дактилоскопическая часть уничтожены в марте;

и что при таком положении раскрытие возможно только случайное.

В конце предлагалось: образовать при милиции розыскное отделение из шести человек, восстановить учёты и завести картотеку заново.

Клементьев дочитал и положил бумагу.

— Александр Петрович, — сказал он. — Я вам отвечу честно, потому что вы, как я вижу, человек не глупый.

— Слушаю.

— Всё, что вы написали, — правда. И я вам не дам ни одного человека.

— Отчего?

— Оттого, что мне не позволят, — сказал Клементьев. — Вы понимаете, где я сижу? Я сижу в комитете, где половина — социалисты, и для них всякое розыскное отделение есть охранка. Я на прошлой неделе предложил взять в милицию четырёх бывших надзирателей — мне устроили скандал на три часа.

Он потёр лицо.

— Мне нынче важнее удержать милицию вообще, чем завести при ней сыск.

Морозов помолчал.

— Виктор Аркадьевич. Тогда я вам предложу второе.

— Что?

— Не берите меня на службу, — сказал Морозов. — Дайте мне одно дело.

— Как это?

— Так. Дайте мне одно из девяти убийств — любое, самое безнадёжное. Без должности, без жалованья и без бумаги. Я его раскрою и принесу вам готовым.

Клементьев смотрел на него секунд десять.

— А если не раскроете?

— Тогда вы ничего не потеряли, — сказал Морозов.

— Отчего вы вообще этим занимаетесь? — спросил Клементьев, когда Морозов уже поднялся. — Вам не платят, вас не назначили, вы можете уехать.

Морозов подумал.

За четыре с половиной года ему задавали этот вопрос семь раз, и всякий раз он отвечал по-разному, и всякий раз честно.

— Оттого, Виктор Аркадьевич, что я ничего другого не умею, — сказал он. — Я тридцать лет ловлю людей, которые делают дурное другим людям. Это единственное, что я умею делать хорошо, и это единственное, что не зависит от того, какая власть.

— Вы полагаете, не зависит?

— Полагаю, — сказал Морозов. — Виктор Аркадьевич, у вас в городе шестидесятидвухлетнему сторожу проломили голову ломом из-за сорока мешков муки. Это дурно при царе, дурно при Временном правительстве и будет дурно при всякой власти, какая тут ещё будет.

Дело он получил в тот же день, и получил именно то, о чём просил: самое безнадёжное.

Убийство сторожа на мучном складе Сычёва, двадцать девятого марта.

Дело было в четырёх листах, и в нём не было ничего.

Морозов прочёл эти четыре листа трижды и записал, чего в них нет.

Нет описания положения тела. Нет указания, где именно во дворе он лежал. Нет упоминания об орудии.

Нет ни слова о том, взломаны ли ворота или отперты.

Нет опроса ни одного соседа.

И нет самого простого: сколько было похищено и в чём это исчислялось.

«Унесено сорокъ мѣшковъ» — и всё.

— Виктор Аркадьевич, — сказал он Клементьеву, — а этот ваш студент, что осматривал, — он где?

— В милиции.

— Позовите.

Студента звали Пахомов, было ему двадцать лет, и он пришёл, готовый к выговору.

Морозов выговора не сделал.

Он просидел с ним час и расспросил обо всём, чего не было в протоколе: где лежал, как лежал, в чём был, была ли кровь, сколько её было, что во дворе, заперты ли ворота.

Парень помнил многое.

Он помнил, что сторож лежал ничком, головой к воротам. Что крови было мало. Что фонарь при нём горел и стоял в трёх шагах, целый.

Морозов записал это и в конце сказал:

— Иван Никитич, вы всё это видели и не записали. Отчего?

— Не знал, что надо, — сказал Пахомов.

— Теперь знаете.

Сторож, Евсей Панкратович Гурьев, шестидесяти двух лет, найден во дворе склада утром, с проломленным черепом. Склад вскрыт, унесено сорок мешков муки-крупчатки.

Осмотр производил милиционер из новых, студент второго курса.

Морозов прочёл его протокол и понял, что осмотра, по существу, не было: описан труп и написано «следов не обнаружено».

Свидетелей нет. Врачебного заключения нет: тело выдали родным на другой день.

Похоронен третьего апреля.

— Ну как? — спросил Клементьев.

— Хорошее дело, — сказал Морозов.

— Отчего же хорошее?

— Оттого, что сорок мешков муки, — сказал он. — Виктор Аркадьевич, человека убили из-за сорока мешков. Это, по нынешним ценам, тысяча двести рублей. И, что важнее, это шестьдесят пудов.

— И что?

— И то, что шестьдесят пудов нельзя унести в кармане, — сказал Морозов. — Их надо вывезти. Стало быть, были подводы. Стало быть, были лошади, возчики и место, куда свезли.

Начал он с того, с чего начинал всякое мёртвое дело: с места.

Склад Сычёва стоял на Инской, у самого спуска к реке: длинное бревенчатое строение под железной крышей, с двумя воротами и с двором, обнесённым забором в полтора человеческих роста.

Двор был вытоптан и за месяц истоптан вдвое.

Морозов и не рассчитывал найти следы. Он пришёл мерить.

Он померил: от ворот до двери склада — двадцать два шага. От будки сторожа до ворот — шесть. Ширина ворот — три с половиной аршина, то есть подвода проходит свободно.

Он осмотрел замок — новый, поставленный после кражи, — и спросил у приказчика про старый.

Старый, по его словам, был амбарный, висячий, и его сбили ломом.

— Где он?

— Выбросили.

Морозов записал и это, и записал с тем чувством, которое за четыре года стало привычным: всякий раз, приходя на место через месяц, он находил, что половину следов уничтожили не преступники, а хозяева, наводя порядок.

Работал он в апреле один.

Он приходил на склад, ходил по улицам, разговаривал — и делал это, не имея ни бумаги, ни права, ни даже возможности сослаться на должность.

За четыре года в этом веке он привык, что за ним стоит учреждение.

Теперь не стояло ничего.

Он представлялся так: «Морозов, Александр Петрович, состою при милиции по особому поручению».

Это было почти правдой и не было ложью настолько, чтобы это можно было проверить.

И работало плохо.

Люди в апреле семнадцатого года не боялись никого.

Дворники не отвечали. Приказчики пожимали плечами. Хозяин склада, купец Сычёв, принял его в конторе и сказал прямо:

— А вы, простите, кто?

— Я веду дознание о смерти вашего сторожа.

— По чьему поручению?

— По поручению начальника милиции.

— Бумага есть?

— Нет.

— Тогда, — сказал Сычёв не грубо, а даже сочувственно, — вы уж не обижайтесь.

С Сычёвым, впрочем, вышло не совсем так.

Купец, сказав «вы уж не обижайтесь», подумал минуту и прибавил:

— А вы вот что. Вы принесите бумажку, хоть какую, и я вам всё скажу. Мне ведь, милостивый государь, самому надо, чтоб нашли: у меня сорок мешков унесли и сторожа убили. Я двенадцать лет его держал.

— Так скажите без бумаги.

— Не могу, — сказал Сычёв. — Я вам скажу, а вы после кому перескажете? Нынче, барин, время такое: скажешь слово — а через неделю тебя за это слово к стенке поставят.

Морозов записал это дословно и после, в мае, вспоминал чаще прочего.

Не «посадят». Не «оштрафуют».

К стенке.

Так в апреле семнадцатого года в сибирском купеческом городе говорил человек, у которого никого ещё не ставили к стенке и который этого слова, вероятно, никогда прежде не произносил.

Морозов вышел от него и постоял на улице.

Он вспомнил, как в декабре двенадцатого года, на четвёртый день в этом веке, впервые предъявил бумагу в ссудной кассе Пыжова — и как приказчик Гриша Лоскутов немедленно стал говорить.

Тогда за ним стояла империя.

Теперь за ним не стояло ничего, и он в первый раз обнаружил, чего стоит сам по себе.

Оказалось — немногого.

Он сделал и второе, о чём после написал в отчёте отдельно.

Он поехал к вдове сторожа.

Гурьева Марфа Ильинична, шестидесяти лет, жила в Закаменской части, в собственном домишке, с внуком девяти лет.

Морозов просидел у неё полтора часа и не узнал по делу почти ничего: муж ушёл на дежурство в восемь вечера, как ходил двенадцать лет, и не вернулся.

Зато узнал другое.

Что к ней за месяц не приходил никто.

Ни из милиции, ни от хозяина склада, ни от кого.

Ей выдали тело второго апреля, и на этом всё кончилось.

— И вы не спрашивали?

— Спрашивала, — сказала она. — Ходила два раза. Мне сказали: ищем.

Морозов записал это и, уходя, сделал то, чего в апреле семнадцатого года не сделал бы, вероятно, ни один чиновник в России.

Он оставил ей свой адрес — на бумажке, крупными буквами, чтобы прочёл внук, — и сказал:

— Марфа Ильинична. Я это дело веду. Кузнецкая, дом Ильина, во втором этаже. Ежели что вспомните или ежели вам понадобится узнать, как идёт, — приходите ко мне домой в любой день.

Она пришла через неделю.

Она пришла не с известием, а просто узнать, — и Морозов, потерявший на этом полтора часа рабочего вечера, после записал, что полтора часа были потрачены правильно.

И тогда он переменил способ.

Он перестал представляться и начал платить.

Не взятки — за сведения: по рублю, по трёшнице, из своих денег, которых у него было четыреста двадцать рублей, привезённых из Москвы.

За две недели он потратил шестьдесят три рубля и получил больше, чем за первую неделю разговоров.

Он установил, что в ночь на двадцать девятое марта у склада стояли подводы — две или три, видел ночной сторож соседнего двора.

Что подводы были не ломовые, а крестьянские: с высокими грядками, какие бывают у пригородных.

Что уехали они в сторону Каменки, то есть к военному городку и лагерю.

И что на другой день, тридцатого марта, на базаре в Закаменской части появилась крупчатка мешками — по цене вдвое ниже базарной.

Он проверил и цену.

Крупчатка в апреле семнадцатого года стоила в Ново-Николаевске четыре рубля пуд по вольной цене и два восемьдесят по твёрдой, установленной с марта, — но по твёрдой её было не достать, потому что по твёрдой никто не продавал.

Стало быть, вдвое ниже базарной означало: два рубля.

Морозов посчитал: сорок мешков по полтора пуда — шестьдесят пудов. По два рубля — сто двадцать.

Сто двадцать рублей на восьмерых.

Пятнадцать рублей на человека.

Он записал эту цифру и подчеркнул её дважды, потому что за четыре года выучил: цифра, за которую убивают, объясняет о деле больше, чем всё прочее.

Шестидесятидвухлетнего сторожа убили ломом за пятнадцать рублей на брата.

Морозов записал и подчеркнул последнее.

Мука вдвое ниже цены в апреле семнадцатого года означала одно.

Продавали не купцы.

Продавали те, кому она досталась даром.

# Глава 104

Базар в Закаменской части Морозов обошёл трижды и на третий раз нашёл того, кто помнил.

Это была баба лет сорока, торговавшая с воза яйцами, — и помнила она хорошо, потому что тридцатого марта сама купила два пуда крупчатки по два рубля вместо четырёх.

— У кого брали?

— У мужиков, — сказала она. — Двое их было, с подводы торговали.

— Здешние?

— Не наши, — сказала она уверенно. — Наши-то мукой не торгуют, наши мукой не занимаются. Эти пришлые.

— Как выглядели?

— Один молодой, лет двадцати пяти. Другой постарше, рябой.

Морозов записал.

— А говорили как?

Баба подумала.

— По-русски, — сказала она. — А только один чудно́.

— Как чудно?

— А не по-нашему, — сказала она. — Слова русские, а склад не наш. Вроде как немец.

Морозов положил книжку в карман и постоял.

Военнопленные.

Он проверял это четыре дня и проверял осторожно, потому что понимал, куда лезет.

Военный городок за Каменкой был не городом и не лагерем в том смысле, в каком Морозов представлял себе лагерь.

Это был посёлок: тридцать с лишним казарм, построенных перед войной для запасных полков, и в них с пятнадцатого года содержалось до десяти тысяч пленных.

Охраняли их солдаты того же запасного полка.

А после февраля охраны, по существу, не стало.

Не потому, что пленных отпустили: их никто не отпускал. Просто в марте семнадцатого года запасной полк занялся собственными делами — выбирал комитет, митинговал, отказывался от нарядов, — и караулы стали нести кое-как.

Морозов сходил в лагерь дважды.

Первый раз — в апреле, к коменданту, и вышел ни с чем: комендант, подполковник лет шестидесяти, разговаривал с ним двадцать минут и всё двадцать минут объяснял, что положение невозможное, что у него на девять тысяч человек полтора караула и что он третий месяц пишет рапорты.

Второй раз — в начале мая, и уже не к коменданту, а внутрь.

Он прошёл по казармам с Марией Игнатьевной — она вызвалась сама, объяснив, что через беженский комитет знает двоих чехов, работавших переводчиками, — и провёл там полдня.

То, что он увидел, он записал вечером и записал коротко.

Девять тысяч человек в тридцати казармах. Нары в три яруса. Кормят раз в день и кормят плохо: с марта поставки сорвались, и лагерь жил на том, что удавалось купить.

Работали — за деньги, у частных лиц — человек полторы тысячи, и эти были сыты.

Прочие сидели.

— И сколько из них уходит в город? — спросил он у одного из чехов.

Тот пожал плечами.

— Кто хочет.

— И возвращаются?

— Возвращаются, — сказал чех. — Тут кормят. Плохо, а кормят.

Пленные ходили в город.

Одни — на работы, законно, по нарядам: на мельницы, на стройки, к частным лицам. Другие — просто так, потому что не держали.

— Сколько их в городе? — спросил Морозов у Клементьева.

— Не знаю, — сказал начальник милиции. — Никто не знает. По спискам в лагере девять тысяч четыреста. Сколько из них нынче в лагере — не скажет и комендант.

Морозов записал и это.

К концу апреля у него сложилась картина, и картина была скверная.

В городе, где полиция упразднена, а милиция состоит из ста семнадцати человек, из которых восемьдесят шесть не умеют работать, находились одновременно:

двести шестьдесят пять человек, выпущенных по амнистии;

до нескольких тысяч военнопленных, ходящих без надзора и не имеющих денег;

и запасной полк в двенадцать тысяч штыков, который с марта перестал подчиняться.

Всё это было горючим.

А поджигало то, о чём Морозов после написал в записке отдельной строкой: голод.

Хлеб в Ново-Николаевске к апрелю стоил втрое против четырнадцатого года.

Мука-крупчатка — четыре рубля пуд.

И город стоял на хлебе: семь мельниц, склады, элеваторы, — то есть в нём было чего красть и было кому.

Он проверил и обратное — то, что следовало исключить прежде всего.

Он предположил, что муку продавали не те, кто крал.

За четыре года он выучил: краденое почти никогда не сбывает тот, кто взял. Между вором и покупателем стоит перекупщик, и в девяти случаях из десяти именно он и попадается.

Здесь выходило иначе.

Мука ушла на базар на другой день после кражи, и ушла оптом, с подводы, по цене вдвое ниже. Перекупщик так не делает: он держит товар неделю-другую и продаёт по частям, чтобы не бросалось в глаза.

С подводы, назавтра и вдвое дешевле продаёт тот, кому надо избавиться немедленно, и тот, кто не считает.

Морозов записал это и подчеркнул:

«Продавали сами. Стало быть, у нихъ нѣтъ сбытчика. Стало быть, шайка новая».

Дальше Морозов пошёл двумя дорогами.

Первая: подводы.

Крестьянские подводы с высокими грядками, ушедшие в ночь на двадцать девятое марта в сторону Каменки, — это означало, что в деле были и местные, из пригородных деревень.

Он обошёл за неделю четыре ближние деревни: Бугры, Усть-Иню, Кривощёково и Ересную.

Ходил он пешком и без бумаги, а представлялся так: скупщик, ищу муку.

На третий день в Ересной ему предложили.

Предложил мужик лет сорока, у ворот: тихо, вполголоса, спросив прежде, надолго ли и много ли берёт.

— Пять пудов бы, — сказал Морозов.

— Есть.

— Почём?

— Три рубля, — сказал мужик. — Крупчатка.

Морозов взял два пуда, заплатил шесть рублей и увёз на нанятой подводе.

А на другой день вернулся с двумя милиционерами и с Клементьевым, которого пришлось убеждать полчаса.

В Ересной, в амбаре у мужика по фамилии Куделин, нашли двадцать два мешка крупчатки.

Куделин признался в тот же день и признался легко.

Он не был вором.

Он был возчиком: его наняли в ночь на двадцать девятое марта, дали пять рублей и велели подать подводу к складу Сычёва.

— Кто нанял?

— Ваньша, — сказал Куделин. — Ваньша Копыто.

— Кто таков?

— А из тюремных, — сказал мужик. — Их нынче много вышло.

Иван Копытов, тридцати трёх лет, вышел из Ново-Николаевской тюрьмы восемнадцатого марта по амнистии.

Сидел он с четырнадцатого года за грабёж, срок имел восемь лет, и по амнистии ему скинули половину и выпустили за отбытием.

Морозов нашёл его карточку в своей картотеке — в одном из двух ящиков, которые он в марте увёз к себе на тележке.

Карточка была составлена в феврале, за неделю до революции, по делу пятнадцатого года.

«Копытовъ Иванъ Семёновъ, 33 л., мѣщанинъ, кличка Копыто. Грабежъ съ насиліемъ. Примѣты: ростъ высокій, волосы рыжіе, лицо рябое, на лѣвой рукѣ недостаётъ мизинца».

Морозов положил её на стол перед Клементьевым.

— Виктор Аркадьевич. Вот вам польза от картотеки.

Начальник милиции взял карточку и прочёл.

— Рябой, — сказал он.

— Рябой, — сказал Морозов. — Та баба на базаре сказала: один постарше, рябой.

Прежде розыска Морозов сделал то, что в апреле семнадцатого года никому в этом городе не пришло бы в голову.

Он попросил у Клементьева список освобождённых по амнистии.

Списка не оказалось.

Верней, он был — в тюремной конторе, — но никто его не затребовал, и в милиции о нём не знали.

Морозов поехал в тюрьму и переписал двести восемьдесят четыре фамилии за полтора дня.

После этого он сличил их со своей картотекой — с теми пятьюстами шестьюдесятью карточками, что увёз в марте на тележке.

Совпало восемьдесят девять.

То есть восемьдесят девять из вышедших были ему известны: с приметами, кличками и указанием, кто чем занимался.

— И что вам это даёт? — спросил Клементьев, когда Морозов положил перед ним эти восемьдесят девять карточек.

— Всё, — сказал Морозов. — Виктор Аркадьевич, у нас в городе девять убийств за три недели и четыреста краж. Я не могу искать четыреста воров. А восемьдесят девять человек с фамилиями и приметами — это работа на два месяца.

Копытова искали три недели и нашли в мае.

Взяли его в Закаменской части, на квартире у женщины, и взяли милиционеры — четверо, под руководством бывшего надзирателя Ерёмина, одного из тех тридцати одного, кого Клементьев отстоял.

Копытов оказал сопротивление, ранил милиционера ножом в плечо и был сбит с ног.

Допрашивал его Морозов.

И допрашивал впервые за четыре с половиной года без всякого закона за спиной.

Он отдавал себе в этом отчёт и обговорил с Клементьевым заранее.

— Виктор Аркадьевич. По какому порядку я его допрашиваю?

— По какому? — Начальник милиции пожал плечами. — По обыкновенному.

— Обыкновенного больше нет, — сказал Морозов. — Судебные следователи есть, суд есть, а дознание нынче ведёт милиция, порядок которого не установлен ничем. И всякий защитник в суде это скажет.

— И что вы предлагаете?

— Вести так, как будто порядок есть, — сказал Морозов. — Протокол с подписью каждой страницы. Двое при допросе. Никакого содержания под стражей сверх законного срока без постановления следователя.

— Это медленнее.

— Это медленнее, — согласился Морозов. — А иначе через полгода все восемь выйдут по формальному поводу, и правильно выйдут.

Он допрашивал его в помещении милиции, при Клементьеве, и допрашивал четыре часа, и за эти четыре часа получил всё.

Дело было такое.

Копытов вышел восемнадцатого марта и обнаружил то же, что обнаружили в те недели все двести шестьдесят пять: что города, из которого он ушёл в тюрьму в четырнадцатом году, больше нет.

Полиции нет. Милиция новая и ничего не умеет. Дворники не доносят. Хлеб дорог, и его много.

Он собрал артель за неделю.

В артель вошли: двое таких же, вышедших по амнистии; трое пленных — двое венгров и чех, — работавших на мельнице и знавших, где что лежит; и двое местных возчиков из пригородных деревень.

Восемь человек.

За месяц с четвертью они сделали: склад Сычёва, лавку на Барнаульской, две квартиры и — что Морозов установил только на допросе — ещё два склада, о которых в милицию не заявляли вовсе, потому что хозяева боялись огласки.

— Отчего боялись? — спросил Клементьев.

— Оттого, что там лежал хлеб, скрытый от учёта, — сказал Морозов. — Виктор Аркадьевич, у вас в городе с марта твёрдые цены на хлеб. А всякая твёрдая цена рождает две вещи: очередь и тайный склад.

Морозов отдельно установил роль пленных — и установил её точно, потому что понимал, чем это может обернуться.

В городе, где девять тысяч австрийцев и венгров ходят без надзора, всякое их участие в преступлении раздувается за неделю.

Он уже слышал на базаре: «австрияки грабят».

Поэтому он выяснил и записал: трое пленных в артели были, и роль их была такая.

Они не крали и не били.

Они работали на мельнице Кулакова и на складах и указывали, где что лежит и когда сторож обходит.

За это им платили едой.

— Деньгами не брали? — спросил Морозов.

— На что им деньги, — сказал Копытов. — Им хлеба надо.

Морозов записал это дословно и после вписал в заключение отдельным пунктом, а Клементьеву сказал прямо:

— Виктор Аркадьевич, из этих троих не делайте истории. Ежели в газете напишут «пленные грабят город», у вас через месяц будут бить пленных на улицах.

Про сторожа Копытов рассказал последним и рассказал, как рассказывают о неудобной мелочи.

Сторожа бить не собирались.

Он спал; его собирались связать. Он проснулся и стал кричать, и один из артельных — не он, Копытов, а младший из вышедших по амнистии, парень двадцати трёх лет по фамилии Шаталов, — ударил его ломом по голове.

— Отчего он ударил?

— Испугался, — сказал Копытов. — Он первый раз шёл.

Морозов записал и это.

Двадцать трёхлетний человек, просидевший в тюрьме за кражу и выпущенный на волю указом о милости, через одиннадцать дней убил шестидесятидвухлетнего сторожа ломом, потому что испугался.

Морозов допрашивал его четыре часа и вёл допрос по своему обыкновению: начал не с убийства, а с того места, где человек считает себя обиженным.

С амнистии.

— Иван Семёнович. Вас выпустили восемнадцатого марта. Что вам сказали при выходе?

Копытов посмотрел на него исподлобья.

— Ничего не сказали.

— Совсем?

— Бумагу дали, — сказал он. — И всё.

— Куда идти, не сказали?

— А куда мне идти? — сказал Копытов. — У меня, барин, ни дома, ни ремесла, ни родни. Я в тюрьму пошёл в четырнадцатом году, а вышел — тут другая держава.

Он усмехнулся.

— Я на улицу вышел, гляжу — городовых нету. Я и подумал: ну, стало быть, и мне всё можно.

Морозов записал это дословно.

Он записал это не как признание и не как оправдание, а как то, чем оно было: описание того, что произошло в марте семнадцатого года с двумястами шестьюдесятью пятью людьми одновременно.

Всех восьмерых взяли к пятнадцатому мая.

Взятие Копытова стоит описать, потому что оно показало Морозову, чего стоит новая милиция.

Брали вчетвером под руководством Ерёмина — бывшего надзирателя, служившего в этом городе двадцать один год.

Ерёмин выставил двоих у окон, сам с четвёртым пошёл в дверь и вошёл первым.

Копытов ударил его ножом снизу, из-под руки; Ерёмин перехватил и сбил.

Всё заняло секунд двадцать.

Морозов, стоявший на улице, после сказал ему:

— Егор Тимофеевич, отчего вы пошли первым?

— А кому ж идти? — сказал Ерёмин. — Тем троим по двадцать лет, они позавчера винтовку в руках держали.

Он был ранен в плечо и через две недели вернулся на службу.

А в комитете в тот же месяц опять поднимали вопрос о том, что бывших полицейских в милиции быть не должно.

Троих пленных выдал комендант лагеря — выдал охотно, потому что для него это было облегчением: он третий месяц не мог отчитаться о людях, и всякий найденный сокращал недостачу.

Местных взяли по деревням.

Шаталова — последним, в Томске, куда он уехал в апреле, и взяли по телеграмме, посланной Морозовым в тамошнюю милицию с приметами и с описанием способа.

— Как вы его в Томске нашли? — спросил Клементьев.

— По способу, — сказал Морозов. — Я телеграфировал: разыскивается участник кражи со склада, приметы такие-то, работает в артели, специальность — влезание через слуховое окно.

— И что?

— И через неделю пришёл ответ, — сказал Морозов. — Что за апрель в Томске две кражи через слуховое окно и что взят по подозрению человек, схожий с приметами.

Он положил телеграмму на стол.

— Вот, Виктор Аркадьевич, и вся моя картотека. Одна карточка, посланная за семьсот вёрст.

# Глава 105

Дело он сдал двадцатого мая.

Прежде того он сделал одно, о чём Клементьеву не сказал.

Он поехал к вдове сторожа и рассказал ей всё сам: кто, сколько их, кто ударил, за сколько и почему.

Он говорил час.

Марфа Ильинична слушала, глядя в стол, и под конец спросила единственное:

— А тот, который ударил, — он молодой?

— Двадцати трёх лет.

Она помолчала.

— И его тоже по амнистии выпустили?

— И его.

— Стало быть, ежели бы не выпустили, — сказала она, — Евсей мой был бы живой.

Морозов ответил не сразу.

Он мог сказать, что это не так; что амнистия сама по себе не убивает; что из двухсот шестидесяти пяти вышедших убил один.

Всё это было бы правдой и всё это было бы ей ни к чему.

— Был бы, — сказал он.

Сдал не в производство — производства в том смысле, к какому он привык, в мае семнадцатого года уже не существовало: судебные установления работали, а вот кто и как ведёт дознание, было неясно самим следователям.

Он сдал папку Клементьеву: шестьдесят один лист, восемь обвиняемых, показания, опись похищенного и заключение.

Клементьев читал два вечера.

— Александр Петрович, — сказал он на третий день. — Я двадцать восемь лет живу и семь лет присяжный поверенный. Я читал в жизни дела всякие.

— И что?

— И такого не читал, — сказал он. — Тут всё сходится. Тут всякое слово чем-нибудь подпёрто.

Он положил ладонь на папку.

— Скажите мне честно: сколько времени вы на это положили?

— Пятьдесят три дня.

— И работали один.

— Один.

— И без бумаги.

— Без бумаги, — сказал Морозов. — И, Виктор Аркадьевич, я вам скажу, чего мне это стоило, потому что вам полезно это знать.

Он положил на стол лист.

Там было записано: шестьдесят три рубля, розданных за сведения; девятнадцать дней, потраченных на разговоры, которые ничего не дали; и одиннадцать человек, отказавшихся с ним говорить, потому что у него не было бумаги.

— Всё это, — сказал Морозов, — стоило бы четырёх дней, если бы у меня было удостоверение и трое помощников.

Клементьев смотрел на лист.

— Я понял, — сказал он.

Розыскное отделение при милиции Ново-Николаевска было образовано двадцать девятого мая семнадцатого года.

Оно состояло из шести человек: заведующего, троих агентов и двух писарей.

Заведующим был назначен Морозов Александр Петрович.

Он получил на это назначение бумагу, подписанную начальником милиции и утверждённую городским комитетом, и получил не сразу: в комитете четыре часа спорили.

Спорил, как и предупреждал Клементьев, левый край: всякий сыск есть охранка, и человек из бывшей полиции не может стоять во главе.

За Морозова говорили двое.

Первым — сам Клементьев, положивший на стол папку в шестьдесят один лист и сказавший: вот что сделал этот человек за пятьдесят три дня без должности и без жалованья, а мы за то же время не сделали ничего.

А вторым — и этого Морозов не ожидал — рабочий с мельницы Кулакова, член комитета от рабочих организаций, человек лет сорока по фамилии Тихомиров.

Он сказал коротко.

Он сказал, что на его мельнице в марте украли двадцать шесть мешков, что заявили в милицию и что милиция не нашла ничего; что рабочим от этого убыток прямой, потому что мельница стала и три дня не платила; и что ежели этот бывший чиновник умеет находить, то пусть находит, а следить за ним они и сами сумеют.

Постановили: отделение образовать, заведующего назначить, отчёт представлять комитету ежемесячно.

Первое своё распоряжение по отделению Морозов написал тридцатого мая, и оно состояло из четырёх пунктов.

Первый: восстановить учёты. Алфавит судимых и проходивших по делам — заново, по памяти чинов, по уцелевшим делам приставов и по тюремным книгам.

Второй: завести регистрацию по способу совершения.

Третий: завести реестр похищенного и сноситься с ним по всякому появлению вещей на базарах и в ссудных кассах.

И четвёртый, который он записал последним и подчеркнул:

«Никакихъ свѣдѣній о лицахъ, не совершившихъ преступленія, отдѣленіе не собираетъ и не хранитъ.

Всякая карточка заводится по дѣлу и уничтожается по прекращеніи дѣла за неподтвержденіемъ.

Списковъ политическихъ, партійныхъ и подобныхъ не вести ни въ какомъ видѣ».

Пятый пункт он написал и вычеркнул.

В нём говорилось, что отделение не принимает к производству дел о деяниях, совершённых по политическим побуждениям, и передаёт таковые в ведение, к тому установленное.

Он вычеркнул его, подумав полчаса, и записал причину.

«Сіе значило бы, что я заранѣе рѣшилъ, чего мнѣ не дѣлать.

А завтра ко мнѣ принесутъ убитаго человѣка, и убьютъ его по политическимъ побужденіямъ, и я обязанъ буду искать убійцу — потому что убійство не дѣлается лучше отъ побужденій.

Разница не въ томъ, за что убили. Разница въ томъ, что я собираю: слѣды по дѣлу — или свѣдѣнія о людяхъ на будущее».

Он показал это Клементьеву прежде, чем подписать.

— Зачем четвёртый пункт? — спросил тот. — Мы и так этим не занимаемся.

— Нынче не занимаетесь, — сказал Морозов.

— А после?

— А после, Виктор Аркадьевич, всякая власть, какая тут установится, первым делом захочет узнать, кто ей неблагонадёжен, — сказал Морозов. — И придёт за этим к нам, потому

что у нас будет картотека. Я хочу, чтобы к тому дню у меня была бумага, где сказано, чего мы не собираем.

Клементьев помолчал.

— Вы полагаете, что власть переменится?

— Полагаю.

— Скоро?

Морозов посмотрел на него.

За четыре с половиной года в этом веке он выучился отвечать на такие вопросы так, чтобы не солгать и не сказать лишнего.

— До зимы, — сказал он.

Лето семнадцатого года прошло в работе, какой Морозов не знал ни в Петербурге, ни в Москве.

В Петербурге и в Москве он приходил в готовое: там были шкафы, журналы, порядок отчётности, писари, знающие, куда что подшить.

Здесь не было ничего.

Первую неделю он потратил на то, чтобы выпросить два шкафа, стол и триста листов бумаги.

Бумаги в июне семнадцатого года в городе не было: писчая подорожала вчетверо, и её не хватало даже для газет.

Он купил её сам, за свои, у знакомого приказчика с оптового склада, и записал в тетради расход: девятнадцать рублей.

За лето таких расходов набралось на сто сорок рублей, и Морозов вёл им счёт не для возмещения — возмещать было некому, — а по привычке всё записывать.

Он строил с нуля.

Он выучил троих агентов, которых ему дали: бывшего надзирателя Ерёмина, сорока восьми лет, знавшего город; молодого милиционера из студентов по фамилии Шумский, умевшего писать; и — по собственному настоянию — женщину.

Это была Мария Игнатьевна Свешникова, двадцати девяти лет, из беженок, служившая с пятнадцатого года в комитете помощи и знавшая пол-города через беженские общежития.

Комитет протестовал; Клементьев подписал.

Мария Игнатьевна Свешникова оказалась лучшим из троих, и Морозов это понял к июлю.

Он взял её, объяснив Клементьеву так: в городе, где половина населения — приезжие и беженцы, треть сведений находится у женщин, а с женщинами наши агенты говорить не умеют.

Клементьев согласился с сомнением.

К июлю сомнения кончились.

Она вела опросы так, как Морозов не сумел бы: приходила в дом, садилась на кухне и сидела два часа, — и через два часа хозяйка выкладывала ей то, чего не сказала бы никакому мужчине с бумагой.

За июнь и июль она дала по трём делам восемь свидетелей, из которых семеро прежде показывали, что ничего не знают.

Морозов, записывая это в отчёт, поймал себя на мысли, что в его прежнем веке в розыске работало женщин чуть не половина и что он это принимал как данность, не задумываясь, с чего это началось.

Началось, вероятно, вот с такого.

За лето отделение приняло к производству двести одиннадцать дел и закончило семьдесят четыре.

Это было немного и вчетверо больше, чем весной.

А в августе Морозову впервые за полгода стало не до города.

Пришло письмо из Тюмени, от Свищова.

«Александръ Петровичъ.

Переѣхали. Домъ купленъ на Владимировской, за рѣчкой, большой, съ дворомъ. Всѣ девятеро довезены, никто не померъ, а Марья Тимофеевна въ дорогѣ хворала, но нынче ходитъ.

Кранцъ при нихъ.

Деньги обращены, какъ уговорено: сто двадцать тысячъ въ хлѣбъ, въ домъ и въ два лабаза, остальное въ банкѣ, и я, признаться, за остальное спокоенъ не буду.

Мы въ городѣ съ іюля.

Пріѣзжай, какъ сможешь, и не откладывай: намъ надо говорить».

Прежде того, в июне, Морозов получил ещё одно письмо, и это было единственное за лето, которое он перечитывал.

Оно пришло из Пензенской губернии, из села Свищёвка, писанное чужой рукой.

Сестра сообщала, что жива, что земский заказ идёт и что за зиму она сшила на управу двести сорок рубах.

Что хозяева теперь к ней хороши.

Что в марте у них в селе тоже был переворот, и мужики выбрали комитет, и что она этого не поняла, но что хлеба стало не меньше.

И в конце — то, из-за чего он перечитывал:

«А брата моего, Саша, я нынче не жду. Я думаю, его нѣтъ на свѣтѣ.

Я это по тому сужу, что онъ бы отписалъ. Онъ безъ письма не могъ.

А ежели онъ гдѣ есть, то пущай не тревожится: я устроена и мнѣ ничего не надо».

Морозов сложил это письмо и убрал в тетрадь, к прочим.

А после сел и написал ей — от брата, как писал уже трижды: что жив, что перевёлся в Сибирь, что служит и что просит писать по новому адресу.

Он вложил сто рублей и отправил.

И записал в тетради одну строку: «Четвёртое письмо. Она всякій разъ вѣритъ и всякій разъ послѣ перестаётъ».

Морозов приехал на Владимировскую в тот же вечер.

Дом стоял в Закаменской части, за речкой Каменкой, — большой, деревянный, в два этажа, с высоким забором и с двором, в котором стояли две лошади.

Всё было то же, что в сибирской усадьбе: забор, собаки, работник у ворот.

Только теперь вокруг был город.

Встретил его Свищов, и встретил на крыльце — и первое, что Морозов отметил, было то, что старик за полгода сдал сильнее, чем за предыдущие два года.

— Постарел ты, Гавриил Кондратьевич.

— Постарел, — сказал Свищов. — Мне, брат, шестьдесят семь по этому телу. И я, знаешь, что заметил? Я стал уставать не от работы, а от людей.

Они прошли в дом.

Дом жил.

В нижнем этаже была большая комната, и в ней сидели за столом четверо: Марья Тимофеевна с внуком, часовщик Зырянов и молчаливая Устинья.

Зырянов чинил часы; их перед ним лежало штук восемь.

— Он тут в две недели работу нашёл, — сказал Свищов. — Ему из города несут. У нас, брат, часовщиков в городе четверо на семьдесят тысяч.

Морозов обошёл дом.

Он делал это по привычке и делал внимательно, потому что за четыре года выучил: дом рассказывает о людях больше, чем люди.

Дом рассказывал следующее.

Внизу — общая комната, кухня, две жилых. Наверху — коридор и семь дверей.

Занято шесть. Седьмая — пустая, и в ней стояла кровать, застеленная, и стол.

— Это чья? — спросил он.

— Твоя, — сказал Свищов. — Кранц велел приготовить.

Морозов посмотрел на него.

— Я живу на Кузнецкой.

— Знаю, — сказал Свищов. — А комната пущай стоит.

Он сказал это буднично и пошёл дальше, а Морозов постоял в дверях лишнюю секунду.

За четыре с половиной года в этом веке это был первый дом, где для него держали комнату.

Кранц вышел из второго этажа.

Доктор за полгода тоже переменился — но в другую сторону: он выглядел лучше, чем в октябре.

— Александр Петрович, — сказал он. — Я вам должен сказать одну вещь, и скажу сразу. Вы были правы.

— В чём?

— В том, что надо было ехать в город, — сказал Кранц. — Я в октябре с вами спорил и полагал, что вы преувеличиваете. За семь месяцев я увидел, что вы преуменьшали.

Он сел.

— В усадьбе мы были одиннадцать человек за забором в двадцати верстах от станции. Нынче я вам скажу, что там было бы в марте: пришли бы мужики из соседней деревни делить землю и барское добро, и мы бы им ничего не объяснили.

— А здесь?

— А здесь мы одиннадцать человек из семидесяти тысяч, — сказал доктор. — И никому не интересны.

За ужином Морозов разглядывал их всех и отмечал перемены.

Марья Тимофеевна за год постарела мало и держалась бодро: у неё был внук, а человек, у которого на руках ребёнок, стареет медленнее.

Зырянов, наоборот, помолодел: у него была работа, которую несли из города, и он второй месяц говорил о том, чтобы открыть мастерскую.

Наталья Ивановна шила.

Сёстры из Саратовской губернии завели во дворе огород и кур.

Старик из Вологды умер в феврале, в дороге не был.

А Устинья сидела с краю и не ела.

Морозов посмотрел на неё внимательнее, чем следовало, и отметил то, что отметил бы всякий: серая кожа, круги под глазами, руки лежат на коленях без движения.

Он видел это дважды за три года: у Ефима Рябова в Успенском и — по описанию снохи — у Аграфены Кузьминой.

Говорили они втроём до полуночи.

И под конец Свищов сказал то, ради чего звал.

— Александр Петрович. У нас беда.

— Какая?

— Устинья, — сказал он.

Морозов посмотрел на Кранца.

— Она слегла в июне, — сказал доктор. — Слабость. Ни жара, ни болей. Лежала три недели, после встала, а с августа опять.

Морозов очень медленно поставил стакан.

— Где вещи?

— В подполе, — сказал Свищов. — Как условились: в кладовой при конюшне, под плитой, всё как было.

— А сундук?
— Сундук тот же.
— Далеко от жилья?
— Сажен двадцать.
Морозов посидел молча.
— Кто ходит в кладовую?
Свищов ответил не сразу.
— Она, — сказал он. — Устинья и ходит. Она у нас при лошадях с июля.

# Глава 106

Книга двадцать вторая. Бумага и печать

В кладовую они пошли в ту же ночь.

Прежде того был разговор на кухне, при Кранце, и разговор короткий.

— Карл Фёдорович, — сказал Морозов. — Я вам сейчас скажу вещь, которую вы можете счесть за бред, и попрошу отнестись к ней не как к бреду, а как к рабочему предположению.

— Говорите.

— Я полагаю, что Устинья больна оттого, что при ней находится один из тех предметов, что лежат у вас в подполе.

Кранц не удивился.

Он снял очки, протёр их и сказал:

— Я это предполагаю с августа.

Морозов посмотрел на него.

— И молчали?

— И молчал, — сказал доктор. — Александр Петрович, я врач. Я не могу написать в истории болезни, что причина слабости — медная бляшка. Я двадцать лет писал истории болезней и знаю, чем кончается для врача такая запись.

Он надел очки.

— Оттого я вам и написал в августе. И оттого Свищов вам телеграфировал.

Морозов настоял: не наутро, а сразу, — и Свищов, посмотрев на него, не стал спорить.

Взяли фонарь и лом.

Кладовая на Владимировской была устроена так же, как в усадьбе: каменная пристройка при конюшне, три на четыре сажени, лари, сбруя, в дальнем углу — плита.

Плиту подняли вдвоём.

Внизу был подпол в сажень, выложенный кирпичом, и в подполе стоял тот же окованный сундук.

Морозов спустился и отпер его ключом, который возил с собой полгода.

Тридцать три предмета лежали в ячейках.

Он сосчитал их дважды, при Свищове, и сошлось.

— Всё на месте, — сказал Свищов.

— На месте, — сказал Морозов и закрыл крышку. — Гавриил Кондратьевич, потушите фонарь.

— Зачем?

— Потушите.

Свищов потушил.

Морозов подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и посмотрел.

Сундук был тёмен.

Как тридцать шесть в марте пятнадцатого года, как тридцать два в октябре шестнадцатого: чёрный ящик в чёрном подполе.

— Ну? — сказал Свищов из темноты.

— Ничего, — сказал Морозов.

Он поднялся наверх и постоял в кладовой.

И вот тут он увидел.

У стены, справа от плиты, в двух аршинах от неё, на земляном полу лежало слабое зелёное пятно.

Морозов присел над ним и просидел минуты три, глядя вбок и мимо.

Пятно было свежее — не такое, как выцветшая клякса под сундуком Кузьминых, а живое, из тех, что оставляет вещь, пролежавшая на месте недели две-три.

— Гавриил Кондратьевич. Что тут стояло?

— Где?

— Вот здесь, у стены.

Свищов зажёг фонарь и посмотрел.

— Мешки, — сказал он. — Овёс тут стоит.

— Всегда?

— Всегда.

— А кто их таскает?

Свищов помолчал.

— Устинья, — сказал он.

Разговаривать с Устиньей было нельзя, и Морозов это понимал.

Он спросил у Кранца о ней всё, что тот знал, и знал доктор немного.

Устинья — имени по отчеству никто не знал — была найдена в девятьсот девятом году в Вологодской губернии, в деревне, где её держали в чулане пятый год.

Держала родня: она перестала говорить в тридцать с чем-то лет, после смерти мужа и двоих детей, умерших в один месяц от дифтерита.

В деревне её считали порченой.

— Она говорила прежде?

— Говорила, — сказал Кранц. — Соседи показывали, что до того была обыкновенная баба и даже певунья.

— И с девятьсот девятого молчит?

— Молчит, — сказал доктор. — И, Александр Петрович, я вам скажу как врач: она не немая. Голосовые связки целы. Она может.

— Отчего же не говорит?

Кранц пожал плечами.

— Оттого, я полагаю, что за пять лет в чулане отвыкла, — сказал он. — Ей никто не отвечал.

Она не говорила восемь лет и не заговорила бы теперь.

Поэтому он сделал иначе.

Наутро он попросил Кранца привести её в кладовую — не спрашивать, а просто привести и постоять.

Она пришла.

Морозов не задавал вопросов.

Он подошёл к плите, приподнял её ломом на вершок и опустил обратно, и всё это время смотрел не на плиту, а на неё.

Устинья не пошевелилась.

Тогда он подошёл к тому месту у стены, где лежало пятно, отодвинул ногой мешок с овсом и посмотрел на неё во второй раз.

И она отвела глаза.

Морозов присел и запустил руку в овёс.

Он искал минуты полторы и нашёл: у самого дна мешка, в тряпице, лежала медная пластина в три вершка.

Он вынул её и положил на ладонь.

Кранц, стоявший в дверях, шагнул ближе.

— Это что?

— Это, Карл Фёдорович, тридцать четвёртая, — сказал Морозов. — Вернее, тридцать четвёртой не было. Стало быть, это одна из тридцати трёх.

Он спустился, отпер сундук и посмотрел.

В сундуке было тридцать два предмета.

Одна ячейка пустовала.

Морозов положил пластину на место, запер сундук, поднялся наверх и посмотрел на Устинью.

Она стояла у стены и смотрела в пол.

— Карл Фёдорович, — сказал Морозов. — Когда она слегла?

— В июне.

— А в кладовую с какого числа ходит?

— С июля, — сказал Кранц. — Когда встала после первого раза.

Морозов посчитал вслух.

— В июне она слегла в первый раз. Пролежала три недели, встала. В июле её поставили к лошадям, и она стала ходить сюда. В августе слегла вторично.

Он повернулся к женщине.

— Устинья. Вы вынули её из сундука в июле?

Она не пошевелилась.

— Я не спрашиваю зачем, — сказал Морозов. — Я вам скажу, что будет дальше, а вы решайте сами. Пластина ляжет обратно в сундук. Вы перестанете ходить в кладовую: лошадей будет смотреть работник. И через неделю мы посмотрим, что с вами станется.

Устинья подняла глаза.

Она смотрела на него секунды три — так же, как смотрела в октябре шестнадцатого, когда положила ему на колени шкатулку, — и вышла из кладовой.

Работника к лошадям поставили в тот же день.

Морозов, впрочем, сделал и второе, о чём Кранцу не сказал: он попросил Свищова переложить сундук.

— Куда?

— Никуда, — сказал Морозов. — Оставьте на месте. Но переложите в нём: разложите предметы плотнее, чтобы между ними было не больше вершка.

— Зачем?

— Затем, что чем ближе они друг к другу, тем меньше от них, — сказал Морозов. — Я это проверял в марте пятнадцатого года при вашем хозяине и проверял пять раз.

Свищов переложил.

Морозов спустился после и посмотрел в темноте.

Сундук был тёмен, как прежде, и никакой разницы он не увидел — да и не мог: тёмное не бывает темнее.

Он записал и это, с оговоркой: «Провѣрить нельзя. Дѣлаю на всякій случай, и записываю, что дѣлаю на всякій случай, — чтобы послѣ не сочесть сіе за доказанное».

Первые три дня Морозов приезжал на Владимировскую каждый вечер.

Он приезжал после службы, часам к девяти, и сидел в общей комнате час-полтора — не при ней, а просто в доме.

Кранц, заметив это на второй день, сказал:

— Александр Петрович, вы ждёте, что она встанет через неделю?

— Жду.

— А ежели не встанет?

— Тогда я буду знать, что ошибся, — сказал Морозов. — Карл Фёдорович, у меня за пять лет четыре случая. Из четырёх два — по чужим словам, один я видел от начала до конца, и один вот этот. Мне нужен четвёртый, чтобы понимать, чего стоят первые три.

Кранц снял очки.

— Вы говорите о ней как о случае.

Морозов помолчал.

— Говорю, — сказал он. — И скажу, отчего. Оттого, что иначе я не умею. Ежели я стану думать о ней как о женщине, которая пять лет просидела в чулане, я перестану считать дни и перестану замечать, на который она встала.

Через десять дней она встала.

Морозов записал это тогда же, при Кранце, и записал по всей форме, потому что понимал: третий случай.

«Устинья, ок. 50 л.

Слегла въ іюнѣ. Слабость, безъ боли и жара. Три недѣли. Встала.

Съ іюля носила при себѣ либо держала близко предметъ, вынутый ею изъ сундука.

Въ августѣ слегла вторично.

24 сентября предметъ возвращёнъ въ сундукъ, доступъ прекращёнъ.

4 октября встала.

Десять дней».

И ниже:

«Рябовъ въ Успенскомъ — семь дней. Кузьмина въ Заречьѣ — не встала вовсе, умерла на пятидесятый.

Устинья — десять дней.

Разница, я полагаю, въ томъ, сколько времени прошло съ начала».

Отчего она её взяла, он так и не узнал.

Он спрашивал Кранца, спрашивал Свищова, спрашивал — насколько это было возможно — её саму, показывая на пластину и на неё.

Она не ответила.

Кранц, впрочем, предложил объяснение, и Морозов записал его как единственное имеющееся.

— Она их различает на ощупь, — сказал доктор. — Это я установил ещё в Удельной, в двенадцатом году, и проверял трижды. Ей завязывали глаза и клали двенадцать предметов; она безошибочно выбирала те, что из этого числа.

— И что?

— И то, что для неё они не такие, как для нас, — сказал Кранц. — Мы с вами видим свет либо не видим. А она их чувствует.

Он снял очки.

— Я, Александр Петрович, восемь лет при ней и полагаю, что она взяла её оттого, что ей было одиноко.

Правило Морозов записал в тот же вечер и записал в самом осторожном виде, какой сумел.

«О разстоянiи и времени.

Изъ четырёхъ наблюдённыхъ мною случаевъ выходитъ слѣдующее.

1. Вещь дѣйствуетъ, когда лежитъ близко къ человѣку постоянно. Полтора аршина у изголовья — дѣйствуетъ. Двадцать саженъ въ кладовой — не дѣйствуетъ ни на кого въ домѣ.

2. Начинается не сразу: отъ трёхъ мѣсяцевъ до полугода.

3. Ежели вынести вовремя — человѣкъ встаётъ. Рябовъ на седьмой день, Устинья на десятый.

4. Ежели поздно — не встаётъ. Кузьмина умерла черезъ пятьдесятъ дней послѣ выноса.

Гдѣ проходитъ граница между „вовремя“ и „поздно“ — не установлено».

Он посмотрел на четвёртый пункт и приписал ниже:

«Изъ сего слѣдуетъ, что всякiй разъ, когда я это вижу, я имѣю нѣсколько недѣль на то, чтобы вмѣшаться.

И что за пять лѣтъ я вмѣшался дважды, а опоздалъ девять разъ».

Осень семнадцатого года в Ново-Николаевске прошла тихо и оттого страшнее.

Тихо — потому что здесь не было того, что творилось в столицах: ни июльских дней, ни корниловского выступления, ни уличных боёв.

Страшнее — потому что всё расходилось по швам постепенно.

В сентябре хлеб стоил вдвое против весны.

В октябре в городе не стало сахара, керосина и мануфактуры.

Запасной полк, стоявший в военном городке, к осени перестал быть полком: он не подчинялся ни коменданту, ни комитету, и его двенадцать тысяч штыков были не силой, а обстоятельством, с которым считались все.

Милиция за лето потеряла двадцать одного человека: одиннадцать ушли сами — жалованья в сто двадцать рублей к осени хватало на неделю, — а десятерых уволили.

И появилось то, чего в апреле ещё не было.

Появились мандаты.

Осенью же в отделении случилась перемена, которую Морозов после считал важнейшей за год.

К нему стали приходить.

Не по вызову — сами, домой, на Кузнецкую, как предсказывала хозяйка в феврале.

Началось это в сентябре, после того как он нашёл двух сбежавших от родителей мальчишек, о которых заявили и о которых милиция не сделала ничего.

Он нашёл их за два дня — просто потому, что догадался спросить не соседей, а других мальчишек.

После этого пошло.

К октябрю к нему на квартиру ходили по три-четыре человека в неделю: с пропажами, с жалобами, с бедой, к сыску отношения не имеющей.

Хозяйка ворчала.

Морозов принимал.

Он делал это по расчёту, и расчёт был такой: город, где к сыщику ходят домой, — город, в котором ещё можно работать. А в городе, где перестанут ходить, работать станет нельзя вовсе.

Морозов заметил это в августе и записал.

В городе, где власть принадлежала одновременно городской думе, комитету общественного порядка, совету рабочих и солдатских депутатов и полковому комитету, всякое из этих учреждений выдавало бумаги.

Бумаги эти назывались по-разному: удостоверение, мандат, ордер, предписание.

Их писали от руки и на машинке, на бланках и без бланков, с печатями и без.

И всякий, кто такую бумагу предъявлял, имел право требовать.

Морозов проверил это на себе.

В сентябре он взял чистый лист, написал на машинке отделения предписание об осмотре помещения, подписался «уполномоченный» и пошёл с этой бумагой в три дома — в те, где его не знали в лицо.

Во всех трёх его впустили.

Ни один из троих хозяев не спросил ни номера, ни того, откуда он.

Один посмотрел на бумагу секунды две, второй прочёл вслух, третий не прочёл вовсе и сказал: «проходите».

Морозов не осматривал: он извинялся и уходил.

Он рассказал об этом Клементьеву и получил выговор — первый за девять месяцев службы.

— Александр Петрович, вы понимаете, что вы делали?

— Понимаю.

— Ежели бы это вышло наружу, нас бы с вами обоих...

— Оттого я и пошёл сам, а не послал агента, — сказал Морозов. — Виктор Аркадьевич, я вам за десять минут доказал то, о чём пишу вам третий месяц. Впустили троих из троих.

— Виктор Аркадьевич, — сказал он тогда же. — Сколько в городе учреждений, выдающих мандаты?

Начальник милиции подумал.

— Не считал.

— Я считал, — сказал Морозов. — Одиннадцать.

Он положил на стол лист.

— И у всех одиннадцати разные бланки, разные печати и разный порядок. А у четырёх нет ни бланков, ни печатей: пишут от руки и подписывают.

— И что?

— И то, что через месяц у нас начнутся ограбления по мандату, — сказал Морозов.

Он ошибся на три недели.

Он написал об этом записку — шестую свою записку за пять лет — и подал её Клементьеву в конце сентября.

В ней предлагалось три меры.

Первая: единый образец бумаги на производство обыска, с номером и с указанием, кто выдал.

Вторая: обязательное присутствие милиционера при всяком обыске, кем бы он ни производился.

И третья, которую Морозов считал главной: объявить в газетах, что всякий обыск без милиционера и без номера незаконен, и что обыватель вправе не открывать.

Записку рассматривали в комитете в начале октября.

Первую меру приняли и не исполнили.

Вторую отклонили: милиционеров сто семнадцать на семьдесят тысяч, и приставлять их к каждому обыску некому.

Третью отклонили тоже — и отклонили с формулировкой, которую Морозов записал дословно: «объявленіе таковое подрываетъ довѣріе къ учрежденіямъ революціонной власти».

Первое случилось второго октября.

# Глава 107

Осень в отделении шла своим порядком, и о нём стоит сказать, потому что дело о мандатах Морозов вёл не вместо прочего, а вместе с прочим.

За сентябрь и октябрь через стол прошло сорок три дела.

Из них тридцать одно — кражи; шесть — грабежи; три — по подложным продовольственным карточкам; два убийства, из которых одно раскрыли за неделю (пьяная драка в Закаменской), а второе не раскрыли вовсе.

И одно — о пропаже человека, каких в семнадцатом году стало по три-четыре в месяц.

Люди пропадали не оттого, что их убивали, а оттого, что уезжали.

Город стоял на дороге; из него уезжали и в него приезжали; и всякий, кто снялся с места, не сообщив родне, числился пропавшим.

Морозов завёл по ним отдельный порядок: не искать, а запрашивать по трём соседним городам и ждать.

Из четырнадцати таких дел за осень одиннадцать кончились письмом откуда-нибудь из Барнаула или Омска.

Второго октября, в седьмом часу вечера, в дом купца Мошкина на Асинкритовской пришли четверо.

Двое были в солдатских шинелях, двое в штатском.

Старший предъявил бумагу.

Бумага была написана на машинке, на четвертушке, и гласила, что предъявителю сего поручается произвести обыск в доме гражданина Мошкина на предмет обнаружения скрытого хлеба и товаров, изъятых из свободной продажи.

Внизу стояла подпись и круглая печать.

Обыск продолжался час.

Изъяли: две тысячи четыреста рублей наличными, серебро, золотые часы, две шубы и — что было записано в составленную ими же опись — «муки крупчатой три пуда».

Опись оставили хозяину.

Мошкин пошёл жаловаться на другой день и пошёл не в милицию, а в совет — потому что печать на бумаге была советская.

В совете сказали, что такого предписания не выдавали.

Он пошёл в комитет.

В комитете сказали то же.

Тогда он пошёл в милицию, и оттуда дело попало к Морозову.

Морозов прочёл заявление и попросил принести бумагу.

Он рассматривал её вечер.

И рассматривал не один: он позвал Шумского и заставил смотреть вместе, объясняя вслух.

Это он завёл с лета и держался этого до конца: всякую работу, которую можно делать при ученике, делать при ученике.

— Иван Никитич, что вы видите?

— Бумагу.

— Какую?

Студент подумал.

— Писчую.

— Сорт?

— Не знаю.

— Третий, — сказал Морозов. — Смотрите на просвет: волокна крупные, лежат неровно. Хорошая бумага так не выглядит. И запомните: на дурной бумаге не пишут настоящих распоряжений, потому что в казённых учреждениях бумага своя, со склада, и она вторая либо первая.

Шумский взял лист и посмотрел на просвет.

— Стало быть, бумага не казённая.

— Стало быть, бумага не казённая, — сказал Морозов. — А печать казённая. Вот вам первое противоречие, и с него мы начнём.

Бумага — писчая, обыкновенная. Машинка — «Ундервуд», с характерным дефектом: буква «е» пробивала выше строки.

Печать — круглая, лиловая, с надписью по кругу.

Морозов взял лупу и просидел над ней час.

Печать была настоящая.

Верней сказать — она была не нарисована и не вырезана из картофеля: её ставили настоящим клише, с равномерным нажимом и с той характерной неровностью краски, какая бывает у казённых печатей.

Он проверил и машинку.

«Ундервудов» в Ново-Николаевске к осени семнадцатого года было, по его подсчёту, около сорока: в учреждениях, в конторах мельниц, в банках, в двух редакциях.

Морозов взял в отделении список и за неделю обошёл двадцать восемь.

Он приходил, просил напечатать под диктовку две строки и уносил.

Дефектной «е» не нашлось ни на одной.

Оставалось двенадцать, до которых он не дошёл, и, кроме того, машинки частные, о которых в списке не значилось вовсе.

Он записал в деле: «Машинка, по всей вѣроятности, не казённая, а личная либо взятая изъ упразднённаго учрежденія».

И приписал: «Въ мартѣ изъ полицейскаго управленія вынесли всё, что можно унести. Двѣ машинки числились и не найдены».

— Виктор Аркадьевич, — сказал он наутро. — У нас в городе украли печать.

Клементьев поднял голову.

— Какую?

— Не знаю, — сказал Морозов. — Но настоящую.

Морозов поехал к Мошкину на другой день и просидел у него два часа.

Купец был из тех, кого за четыре года он видел десятками: лет пятидесяти, крепкий, битый жизнью и оттого недоверчивый.

Он рассказывал охотно и путано, и Морозов вытягивал из него подробности по одной.

— Иван Прохорович. Вы бумагу прочли?

— Прочёл.

— Внимательно?

— Внимательно, — сказал Мошкин и тут же поправился: — Ну, как... Глазами прошёл.

— Что вас в ней убедило?

Купец подумал.

— Печать, — сказал он. — Круглая, лиловая, всё как есть.

— А ещё?

— А ещё то, что он не торопился, — сказал Мошкин неожиданно. — Вы поймите, барин. Ежели бы они вбежали и стали кричать — я бы, может, и заупрямился. А он вошёл, снял шапку, поздоровался и говорит: не угодно ли присесть, я вам прочту.

Морозов записал это дословно.

Второе случилось седьмого октября, третье — одиннадцатого.

К концу октября таких случаев было семь.

Заявления по этим семи поступили не сразу и поступили не все.

Морозов установил это, обойдя пострадавших сам, и установил порядок, который после записал отдельно.

Из семи заявили в милицию четверо.

Двое пошли сперва в совет, один — в комитет, и оба учреждения приняли заявление, положили в папку и не сообщили никому.

А седьмой не заявлял вовсе.

Это был мелкий торговец с Барнаульской, и Морозов нашёл его сам, через соседей.

— Отчего не заявили?

Торговец посмотрел на него.

— А кому? — сказал он. — Милиции? Так они сами и приходили, может.

— Не они.

— Может, и не они, — согласился он. — А может, и они. Я, барин, нынче не знаю, кто в этом городе кто.

Морозов записал эту фразу и подчеркнул.

За четыре с половиной года он выучил, что раскрываемость держится не на сыске, а на том, заявляют ли.

А заявляют тогда, когда верят, что есть кому.

Морозов свёл их в таблицу — на большом листе, как сводил всегда, — и таблица показала следующее.

Все семь домов были богатые: купеческие, торговые, два — служащих банка.

Во всех семи предъявляли бумагу.

Бумаги были разные: три с советской печатью, две с печатью продовольственной управы, одна от комитета и одна вовсе без печати, от руки, за подписью «уполномоченный».

Ходили от четырёх до шести человек.

Всегда вечером, между шестью и девятью.

Всегда с описью — то есть составляли бумагу об изъятом и оставляли хозяину.

Всегда вежливо: ни в одном из семи случаев никого не били.

И всегда брали одно и то же: деньги, золото, серебро — и понемногу хлеба, муки или сахара, что вносилось в опись первым номером.

Морозов смотрел на эту таблицу два вечера.

— Виктор Аркадьевич, — сказал он на третий день. — Я вам скажу, что меня в этом деле занимает больше всего.

— Что?

— Мука, — сказал Морозов.

Клементьев поднял брови.

— У них берут по две тысячи рублей и золотые часы, а вас занимает мука?

— Именно, — сказал Морозов. — Смотрите: во всех семи случаях они забрали продовольствие. От трёх пудов до восьми. И всякий раз вписали его в опись первым номером.

— И что?

— А то, что три пуда муки — это двенадцать рублей, — сказал Морозов. — Ради двенадцати рублей никто не станет таскать на себе три пуда, имея в кармане две тысячи наличными.

Он положил ладонь на таблицу.

— Стало быть, они берут муку не для себя. Они берут её, чтобы обыск выглядел настоящим.

Клементьев помолчал.

— Вы полагаете, они из наших?

— Не полагаю, — сказал Морозов. — Я полагаю, что они хорошо знают, как выглядит настоящий обыск. А это не одно и то же.

Он сделал ещё одно, прежде чем взяться за розыск.

Он написал объявление.

Оно было напечатано в газете «Голос Сибири» четырнадцатого октября, на второй странице, и стоило отделению одиннадцать рублей, которых у отделения не было и которые Морозов заплатил сам.

Текст он составлял вечер и составил в шести строках.

«Отъ розыскного отдѣленія милиціи.

Въ городѣ дѣйствуютъ лица, производящія обыски по подложнымъ бумагамъ.

Всякій, къ кому явятся съ требованіемъ обыска, вправѣ: 1) не открывать двери до утра; 2) послать за милиціонеромъ; 3) требовать, чтобы обыскъ производился при двухъ постороннихъ свидѣтеляхъ, каковыхъ приглашаетъ самъ хозяинъ.

Настоящій обыскъ отъ сего не пострадаетъ. Подложный — не состоится».

Клементьев, прочитав это в газете, вызвал его.

— Александр Петрович, вы понимаете, что вы напечатали?

— Понимаю.

— Вы напечатали, что можно не открывать милиции.

— Я напечатал, что можно не открывать до утра, — сказал Морозов. — Виктор Аркадьевич, у настоящего обыска не бывает такой спешки, чтобы он не мог подождать до рассвета.

Клементьев помолчал.

— Мне из совета звонили, — сказал он. — Спрашивали, отчего милиция учит обывателя не пускать власть.

— И что вы ответили?

— Что за две недели у нас семь ограблений и что я предпочту объясняться, чем считать восьмое.

Восьмого в октябре не случилось.

Морозов после полагал, что объявление тут ни при чём и что просто выждали; но два хозяина в ноябре, к которым приходили, потребовали свидетелей — и в обоих случаях пришедшие ушли.

Работа пошла по трём направлениям, и все три Морозов вёл одновременно, потому что времени не было.

Первое: печати.

Он обошёл за неделю все одиннадцать учреждений, выдающих бумаги, и в каждом задал три вопроса: сколько у вас печатей, где они хранятся и кто к ним имеет доступ.

Ответы вышли поучительные.

В совете рабочих и солдатских депутатов печатей было две, хранились они в столе у секретаря, стол не запирался.

В продовольственной управе — три, из них одна лежала в конторе на виду.

В комитете — одна, у председателя, и он носил её в кармане.

В полковом комитете — две, и одна из них, по словам полкового писаря, «где-то тут».

Морозов записал это всё и подвёл итог: в городе имелось не менее пятнадцати круглых печатей, из которых по крайней мере восемь мог взять кто угодно.

— И это ещё не главное, — сказал он Клементьеву.

— А что главное?

— Главное, что мы не можем проверить, — сказал Морозов. — Виктор Аркадьевич, вот вам положение. Ко мне приходят четверо с бумагой и печатью и говорят: обыск. Как я, живущий в этом городе обыватель, могу узнать, настоящая она или нет?

— Позвонить.

— Куда? У нас в городе двести восемьдесят телефонов, и ни одного у обывателя средней руки.

— Пойти в совет.

— В семь часов вечера? — сказал Морозов. — И пока я хожу, они у меня в доме.

Он положил перо.

— Никак, Виктор Аркадьевич. Проверить нельзя никак. И они это знают.

Морозов сделал по печатям и второе, и это было единственное, что за всё дело дало практическую пользу немедленно.

Он предложил ввести номера.

Записка была на двух листах и предлагала: всякому учреждению, выдающему бумаги на производство обысков и выемок, вести им нумерацию по порядку в отдельной книге; в бумаге проставлять номер и число; и объявить в газетах, что бумага без номера недействительна.

— И что это даст? — спросил Клементьев.

— То, что подделать бумагу станет труднее вчетверо, — сказал Морозов. — Ежели у нас есть книга, я могу за десять минут узнать, выдавался ли такой номер.

— А ежели подделают номер?

— Пусть, — сказал Морозов. — Тогда мы узнаем, что он поддельный, и это уже само по себе довод.

Записку приняли частично.

Три учреждения из одиннадцати завели книги в ноябре.

Прочие обещали.

Второе направление было — люди.

Из семи ограбленных Морозов лично опросил всех, и опросил подробно: не что взяли, а как выглядели и как себя вели.

Он опрашивал по способу, выработанному за пять лет и записанному у него в тетради под заглавием «О разспросѣ очевидца».

Правил было четыре.

Не спрашивать «как он выглядел» — на этот вопрос человек отвечает выдумкой. Спрашивать по частям: рост относительно самого спрашиваемого; во что одет сверху; была ли шапка; какой голос.

Не поправлять и не подсказывать: всякая подсказанная примета через неделю становится для свидетеля собственным воспоминанием.

Спрашивать по одному, а не при родне.

И записывать дословно, включая «не знаю», потому что три «не знаю» от трёх свидетелей стоят дороже трёх согласных выдумок.

Складывалось следующее.

Старший — лет тридцати пяти, среднего роста, тёмный, говорит чисто и грамотно. Держится спокойно, никогда не повышает голоса. В двух случаях назвался: в одном «уполномоченный Свиридов», в другом «товарищ Пахомов».

Один из четверых — молодой, лет двадцати, суетливый, в солдатской шинели.

Ещё двое — постоянные: рослый, лет сорока, молчит; и второй, рябой.

И пятый, появлявшийся не всегда, — тот, кто писал опись.

— Он писал при вас? — спрашивал Морозов у каждого.

И все семеро подтвердили: писал при них, за столом, сидя.

— Быстро писал?

— Быстро.

— Грамотно?

Тут ответы разошлись, и Морозов попросил показать описи.

Их сохранили пятеро из семи.

Он разложил пять описей на столе и просидел над ними до полуночи.

Они были написаны одной рукой.

Почерк был канцелярский: ровный, с наклоном, с теми характерными росчерками, какие вырабатываются у человека, десять лет пишущего бумаги.

Орфография — безукоризненная.

И — что Морозов отметил на третьем часу — форма.

Опись была составлена по всем правилам: с указанием числа, места, оснований, с перечислением по пунктам, с итогом и с подписью.

Так пишут не бандиты.

Так пишут те, кого этому учили.

Морозов положил лупу и посидел, глядя на пять листов.

— Виктор Аркадьевич, — сказал он наутро. — Я знаю, кого мы ищем.

— Кого?

— Чиновника, — сказал Морозов.

# Глава 108

Чиновников в Ново-Николаевске к октябрю семнадцатого года было много, и главное — их было много бывших.

Морозов расписал это на бумаге.

За восемь месяцев в городе упразднили: полицейское управление, жандармский пункт, воинское присутствие в прежнем виде и часть казённых учреждений, слитых с новыми.

Без места осталось человек сто пятьдесят.

Из них: часть перешла в милицию, часть в новые учреждения, часть уехала.

А человек шестьдесят остались в городе без службы.

— И вы полагаете, что это кто-то из них? — сказал Клементьев.

— Полагаю, — сказал Морозов. — И скажу отчего.

Он положил на стол одну из описей.

— Смотрите, Виктор Аркадьевич. Тут указано основание: «на основании распоряжения от такого-то числа за номером». Номер выдуман, но он есть. Тут указано время начала и окончания обыска. Тут в конце написано: «изъятое принято на хранение впредь до особого распоряжения».

Он поднял глаза.

— Человек, который это пишет, десять лет писал такие бумаги по-настоящему.

Прежде списка он сделал то, что за пять лет вошло у него в привычку и что в этом деле оказалось важнее всего.

Он сел и написал портрет.

Не приметы — их у него было довольно, — а то, что за четыре года научился составлять по бумагам и по поведению.

«Кто онъ.

Мужчина 35–40 лѣтъ. Грамотенъ, писалъ бумаги не менѣе восьми лѣтъ. Служилъ и служить пересталъ.

Не пьётъ: за семь разъ ни одного случая, чтобы кто-нибудь изъ пятерыхъ былъ выпивши, а старшій слѣдитъ за этимъ.

Не жаденъ: беретъ деньги и золото, оставляетъ мебель, платье и всё, что надо везти.

Не жестокъ: за семь разъ никого не тронули, хотя случаи были.

Осторожемъ: ходятъ вечеромъ, никогда дважды въ одну улицу, между случаями отъ четырёхъ до девяти дней.

Тщеславенъ: оставляетъ опись. Сего можно было бы не дѣлать вовсе.

Сіе послѣднее полагаю важнѣйшимъ. Опись нужна не хозяину и не имъ. Она нужна ему».

Шестьдесят человек Морозов проверял три недели.

Он делал это осторожно и делал не сам: у него было трое агентов, и он послал Марию Игнатьевну.

Она ходила по городу и разговаривала — с жёнами, с соседками, с квартирными хозяйками, — и через три недели принесла список из девяти фамилий.

Девять человек, оставшихся без службы, живущих не по средствам.

Морозов сличил девять со своей картотекой и проверил каждого.

Семеро отпали за неделю.

Двое остались.

Первым был бывший помощник пристава Второй части — тот самый, о котором в карточке значилось шесть жалоб и которого в марте арестовали, а после выпустили.

Вторым — бывший чиновник продовольственной управы, уволенный в июле по сокращению, тридцати восьми лет, по фамилии Ланской.

Ланской подходил идеально.

И это Морозов записал себе первым, потому что за пять лет выучил: версия, подходящая идеально, требует не подтверждения, а проверки на излом.

Он выписал, что в ней не сходится, и нашёл три пункта.

Первый: Ланской был уволен в июле, а первое ограбление случилось второго октября. Два с половиной месяца — долго для человека без денег.

Второй: он жил не по средствам с весны, то есть ещё при жалованье.

И третий, о котором Морозов подумал последним: Ланской был известен в городе.

Он девять лет служил в продовольственной управе, через которую в семнадцатом году прошёл всякий обыватель, и его знали в лицо сотни людей.

Человек, идущий с фальшивым мандатом в купеческий дом, не может быть тем, кого узнают на улице.

Он был грамотен, писал бумаги девять лет, знал форму, имел доступ к бланкам и печатям продовольственной управы и с июля не имел места.

Он был среднего роста и тёмен.

Он жил, по сведениям Марии Игнатьевны, лучше, чем следовало человеку без жалованья.

Морозов взялся за него и потратил на него две недели.

И на исходе второй недели закрыл версию.

Ланской не подходил по единственному, но решающему признаку: он был левша.

Морозов установил это, посмотрев на образцы его писем через приказчика лавки, где тот брал в долг, и убедился лично, поговорив с ним под предлогом опроса по другому делу.

Наклон в описях шёл вправо и шёл с нажимом, характерным для правой руки.

— И это всё? — сказал Клементьев. — Из-за наклона?

— Из-за наклона, — сказал Морозов. — Виктор Аркадьевич, человек может подделать почерк. Человек не может писать пять описей подряд, быстро, при семи свидетелях, другой рукой.

Третье направление было — вещи.

Из семи ограблений было унесено, по описям самих же грабителей, около одиннадцати тысяч рублей деньгами и вещей рублей на четыре тысячи.

Вещи Морозов расписал в реестр — тот самый, который завёл в июне, — и разослал по всем местам, где вещь может всплыть: в четыре ссудные кассы, шести скупщикам, имевшим патент, и на два базара.

Всплыло за три месяца немногое.

В ноябре в ссудной кассе на Барнаульской заложили золотые часы с монограммой — те самые, из дома Мошкина.

Заложил их человек, назвавшийся Ивановым, и Морозов, приехав через сутки, нашёл только запись и приметы.

Приметы были: рослый, лет сорока, молчаливый.

Тот самый, третий.

— И это всё? — сказал Клементьев.

— Пока всё, — сказал Морозов. — Виктор Аркадьевич, реестр не ловит вора. Реестр показывает, что вор в городе и что он вещи закладывает, а не увозит.

Двадцать шестого октября в Ново-Николаевск пришла телеграмма о том, что в Петрограде власть перешла к советам.

Морозов узнал об этом на службе, к полудню, и первое, что он сделал, — посмотрел на календарь.

Двадцать шестое октября.

Он помнил это число с четырнадцатого года и четыре года держал его в голове как дальнюю точку.

Теперь точка настала, и оказалось, что за ней ничего не видно.

Он знал, что будет дальше, — но знал крупно: гражданская война, Колчак в Сибири, красные, интервенция.

Он не знал ни одной подробности того, что будет в этом городе на этой неделе.

И, впервые за четыре года, обнаружил, что его знание кончилось.

Вечером двадцать шестого он записал в тетради то, что обдумывал четыре года и что оказалось короче, чем он думал.

«26 октября 1917 г.

Вотъ и всё.

Я четыре года держалъ въ головѣ это число и полагалъ, что въ этотъ день со мною что-нибудь сдѣлается.

Ничего не сдѣлалось. Я сидѣлъ надъ описями и разбиралъ почеркъ, а въ полдень мнѣ сказали.

И вотъ что я нынче понялъ.

Всё, что я зналъ о будущемъ, кончилось.

До сего дня я зналъ впередъ: войну, отступленіе, февраль, октябрь. Я зналъ дурно и крупно, а всё-таки зналъ.

А дальше у меня въ головѣ только слова: гражданская война, Колчакъ, красные, а послѣ двадцатый годъ и всё.

Ни числа, ни имени, ни улицы.

Стало быть, съ нынѣшняго дня я живу такъ же, какъ всѣ вокругъ: не зная, что будетъ въ будущемъ мѣсяцѣ.

И, признаться, мнѣ отъ этого легче».

В Ново-Николаевске переворот прошёл не так, как в столицах, и прошёл в две очереди.

Двадцать восьмого октября совет рабочих и солдатских депутатов объявил, что берёт власть.

Городская дума и комитет с этим не согласились.

Две недели в городе существовало две власти сразу, и обе издавали распоряжения, и обе выдавали мандаты.

Морозов, наблюдавший это со своей колокольни, отметил единственное, что имело значение для его работы: печатей стало больше.

Окончательно всё решилось в декабре.

Тринадцатого декабря совет распустил городскую думу, и с этого дня власть в городе принадлежала совету.

Милиция была переименована.

Декабрьские перемены Морозов пережил спокойнее, чем мартовские, и записал, отчего.

В марте он был человеком без места, картотека которого стояла в коридоре, и всё зависело от того, вспомнят ли о нём.

В декабре у него было отделение из шести человек, сто сорок законченных дел и репутация.

Он записал это и приписал ниже то, что счёл важнейшим:

«Всякая новая власть, придя, ищетъ, кого убрать и кого оставить.

Убираютъ тѣхъ, кто былъ виденъ. Оставляютъ тѣхъ, безъ кого станетъ работа.

Оттого человѣку, желающему пережить перемѣну, надлежитъ дѣлать не громкое, а нужное.

Сіе, впрочемъ, годится лишь до тѣхъ поръ, покуда новая власть чего-нибудь хочетъ, кромѣ власти».

Клементьева сместили двадцатого декабря.

Он ушёл спокойно — сдал дела, подписал бумаги и на прощание зашёл к Морозову.

Прежде того, впрочем, он сделал одну вещь, о которой Морозов узнал позже и которую после вспоминал.

Двадцатого декабря, сдавая дела, Клементьев подписал последним распоряжением бумагу о том, что розыскное отделение при милиции сохраняется в прежнем составе и с прежним заведующим.

Бумага эта была написана уходящим начальником, не имевшим уже никакой власти, и не значила по существу ничего.

И всё-таки Морозов вклеил её в дело первым листом — потому что за пять лет выучил: бумага, ничего не значащая сегодня, через месяц оказывается единственным основанием, на которое можно сослаться.

— Александр Петрович. Я ухожу.

— Знаю.

— Вас, я полагаю, оставят, — сказал Клементьев. — Вы человек нужный и не политический.

— Может быть.

— А я политический, — сказал бывший начальник милиции. — Я эсер, и этого мне довольно.

Он постоял.

— Я вам скажу одну вещь, и после уйду. Я в марте вас брать не хотел. Я вас взял оттого, что вы принесли мне папку в шестьдесят один лист.

— Помню.

— Так вот, — сказал Клементьев. — За девять месяцев вы у меня закончили сто сорок дел, и по семнадцати из них люди пошли под суд. И я нынче, уходя, думаю, что это единственное, что я тут успел сделать путного.

Он протянул руку.

— Держитесь, Александр Петрович. И вот вам совет от юриста: что бы дальше ни было, ведите бумагу правильно. Бумага, ведённая правильно, переживает всякую власть.

Морозов пожал ему руку.

Он не стал говорить, что четыре года твердит эту фразу сам и что в марте видел, как за три дня сгорело четыре года такой бумаги.

Три недели между роспуском думы и приходом нового начальника отделение работало само по себе, и Морозов после называл эти три недели самыми спокойными за весь семнадцатый год.

Никто не спрашивал отчётов. Никто не вызывал в комитет. Никто не ставил условий.

Они просто работали: закончили четыре дела и завели шесть.

И в эти же три недели Морозов сделал то, до чего полгода не доходили руки.

Он завёл адресный стол.

Верней, привёл в порядок то, что называлось адресным столом и что состояло из двух ящиков с бумажками, ведёнными с пятнадцатого года кое-как.

Он посадил на это двоих на две недели, и к Рождеству в городе появился список: кто где живёт, по домовым книгам, по спискам квартирных хозяев и по данным продовольственных пунктов, куда с осени записывались все ради карточек.

Список вышел неполный — тысяч на сорок из семидесяти.

И именно по нему в январе нашли Тарасова.

Новый начальник пришёл двадцать четвёртого декабря.

Его звали Матвей Ильич Гурьев, было ему тридцать три года, и до семнадцатого года он был слесарем на мельнице Кулакова.

Между сменой власти и вызовом прошло пять дней, и Морозов провёл эти пять дней, разбирая, чего ждать.

Он раскладывал на бумаге, как раскладывал всякое дело.

Что ему может быть поставлено в вину.

Служба в полиции при старом порядке — четыре года. Это первое и главное.

Служба в милиции при Временном правительстве — девять месяцев, по назначению эсера Клементьева. Это второе.

Дворянское или чиновничье происхождение — по формуляру он значился из обер-офицерских детей.

И картотека, которую при желании всякий назовёт охранкой.

Что говорит за него.

Сто сорок законченных дел за девять месяцев. Восемьдесят девять из них — кражи и грабежи у людей небогатых.

Рабочий Тихомиров с мельницы Кулакова, стоявший за него в мае.

И четвёртый пункт первого распоряжения, писанный в мае и лежащий в деле: никаких списков о лицах, не совершивших преступления.

Морозов посмотрел на оба столбца и записал внизу:

«Выйдетъ по тому, каковъ будетъ человѣкъ, а не по тому, что въ столбцахъ».

Гурьев вызвал его на пятый день.

— Вы Морозов? — сказал он. — Который сыском заведует?

— Я.

— Из бывших полицейских?

— Из бывших чиновников для поручений, — сказал Морозов. — Служил в Петербурге и в Москве.

Гурьев смотрел на него секунд десять.

— Мне про вас говорил Тихомиров, — сказал он наконец. — С мельницы Кулакова. Он в комитете за вас стоял в мае.

— Помню.

— Он сказал: этот находит.

— Стараюсь.

Гурьев побарабанил пальцами по столу — жест, который Морозов за четыре года видел у Вельяминова, Пересветова и Ярцева, — и сказал:

— Вот что. Я в сыске не понимаю ничего, и врать не стану. Я слесарь. Меня поставили, потому что я в совете третий месяц и потому что в милиции надо кого-то ставить.

Он положил руки на стол.

— Работайте, как работали. Отчёт будете давать мне раз в неделю. И одно условие.

— Какое?

— Никаких старых порядков, — сказал Гурьев. — Задержанных не бить. Обысков без бумаги не делать. И к людям без нужды не лезть.

Морозов посмотрел на него.

За четыре с половиной года это было первое условие такого рода, которое ему ставили при вступлении в должность.

— Согласен, — сказал он. — И прибавлю четвёртое.

— Какое?

— Никаких списков о лицах, не совершивших преступления, — сказал Морозов. — Оно у меня записано с мая, в первом распоряжении по отделению.

Гурьев взял бумагу, которую Морозов положил перед ним, и прочёл.

Читал он медленно, шевеля губами, и Морозов, глядя на это, подумал, что человек, прочитавший в жизни немного, читает всякую бумагу внимательнее иного грамотея.

— Правильно, — сказал Гурьев, дочитав. — Оставьте.

А через два дня, двадцать седьмого декабря, случилось восьмое ограбление по мандату. И в этот раз убили.

# Глава 109

Двадцать седьмого декабря, в восьмом часу вечера, в дом провизора Гринберга на Кабинетской пришли пятеро.

Предъявили бумагу — на этот раз с печатью совета.

Обыск шёл сорок минут и шёл, как прежде: вежливо, с описью.

А на сорок первой минуте в дом вернулся сын хозяина — Яков Гринберг, двадцати двух лет, студент, приехавший из Томска на святки.

Он вошёл, увидел, что происходит, и потребовал предъявить мандат.

Ему предъявили.

Он прочёл и сказал, что бумага поддельная.

Дальше показания расходятся.

Отец говорил, что сын взял бумагу и пошёл к двери. Мать — что он закричал. Прислуга — что он схватил старшего за рукав.

Все трое сходились в одном: старший сказал молодому, тому, что в шинели: «уйми».

Молодой выстрелил.

Яков Гринберг умер через два часа, не приходя в сознание.

Морозов приехал на место в девятом часу.

Он взял с собой всё, что за год собрал для осмотров: сажу, кисть, стеклянные пластинки, аптечный пластырь, ленту для измерений и лампу с рефлектором.

Это был ящик в полпуда весом, и Морозов возил его при отделении с осени, а собирал полгода — по мелочи, по лавкам, за свой счёт.

За четыре с половиной года в двух столицах у него никогда не было такого ящика.

Там были прозекторы, эксперты и фотографы; здесь не было никого, и всё, что не сделал он сам, не делалось вовсе.

Он ехал туда, зная, что произошло то, чего он ждал с октября и о чём дважды писал Клементьеву.

В обеих записках стояло одно и то же: что шайка, действующая без насилия, рано или поздно натыкается на человека, который скажет «нет», — и что в эту минуту решается, кто они такие.

Он ошибся в одном.

Он полагал, что это будет хозяин дома, мужчина сорока-пятидесяти лет, которому есть что терять.

А оказался двадцатидвухлетний студент, приехавший на святки и никого в этом городе не знавший.

Он работал там до трёх ночи и работал так, как не работал с московских времён: с осмотром, с планом, с описанием, с изъятием.

И получил больше, чем за семь предыдущих случаев вместе взятых.

Первое.

Пуля.

Она прошла навылет и застряла в косяке. Морозов вырезал её сам, ножом, при понятых, и упаковал.

Это была револьверная пуля от нагана.

Второе.

Мандат остался в доме.

Студент, прочитав его, не отдал: он держал бумагу в руке, когда в него выстрелили, и она упала на пол и осталась там.

Уходя, налётчики её не подобрали — то ли не заметили, то ли не до того.

Морозов взял её в руки в первый раз за три месяца.

Третье, и главное.

Опись.

Тот, кто писал опись, при выстреле бросил недописанный лист на столе.

Он был исписан на две трети и оборван на середине фразы: «…часы золотые мужскіе съ цѣпочкой, одни; портсигаръ серебр».

И был на нём отпечаток.

Морозов увидел его, когда поднёс лист к лампе: в правом нижнем углу, там, где человек придерживает бумагу левой рукой, лежало жирное пятно от пальца.

Провизор Гринберг, у которого в лавке было всё, дал ему сажу и стеклянную пластинку.

Отпечаток Морозов перевёл в ту же ночь, по способу, который знал теоретически и делал впервые.

Он делал это на кухне у провизора, при лампе, и делал по инструкции, которую помнил из бумаг четырнадцатого года: посыпал сажей, снял излишек мягкой кистью, приложил липкую ленту от аптечного пластыря и перенёс на белую карточку.

Вышло с третьего раза.

Первые два он испортил: пересыпал сажи.

Гринберг, провизор, стоял рядом и смотрел.

— Это что же, — сказал он, — по пальцу можно человека узнать?

— Можно.

— И у всякого свой?

— У всякого.

Провизор помолчал.

— Знаете, — сказал он, — у меня сына убили четыре часа назад. И я нынче сижу и думаю о том, что у всякого человека свой палец. Это, наверное, оттого, что думать о другом я пока не могу.

И это была та самая работа, о которой он четыре года читал в бумагах и которой в этом городе с марта не существовало вовсе, потому что дактилоскопическую часть сожгли на площади.

Из семисот карт у него было сорок одна — те, что он подобрал одиннадцатого марта под фонарём.

Морозов сличал два дня.

Не сошлось.

Он отложил стекло и записал в деле: «Отпечатокъ снятъ, съ имѣющимися 41 картами не совпадаетъ. Хранить».

А после сделал третье.

Он поехал в тюрьму.

Дактилоскопирование арестантов ввели в этом городе в четырнадцатом году, и карты хранились в двух местах: в полицейском управлении — сгорели — и в тюремной конторе.

Тюремные уцелели.

Их было четыреста двенадцать.

Морозов забрал их все, привёз в отделение и посадил Шумского сличать.

Сличали шесть дней.

На шестой день, третьего января восемнадцатого года, Шумский вошёл к нему без стука и положил на стол карту.

— Александр Петрович. Сошлось.

Карта была заведена в июне пятнадцатого года.

«Тарасовъ Пётръ Никитинъ, 36 л., изъ мѣщанъ г. Курска. Осуждёнъ 1915 г. за подлогъ и присвоеніе казённыхъ суммъ къ лишенію правъ и ссылкѣ. Служилъ письмоводителемъ въ казённой палатѣ».

Морозов взял её в руки и посидел с ней минуту.

Он думал о том, что эта карта уцелела по случайности.

Она лежала в тюремной конторе, а не в полицейском управлении, — и оттого не попала в мартовский костёр.

Из семисот карт города уцелели те четыреста двенадцать, что были при тюрьме, и сорок одна, подобранная им под фонарём.

Если бы Тарасова дактилоскопировали не в тюрьме, а при задержании, его карта сгорела бы одиннадцатого марта — и это дело не было бы раскрыто никогда.

Он записал это в тетради вечером и приписал:

«Всё дѣло держится на томъ, что бумаги хранились въ двухъ мѣстахъ, а сожгли одно.

Сіе не мудрость, а везеніе.

Изъ чего слѣдуетъ единственное правило, стоящее того, чтобы его помнить: всякую опись, всякій алфавитъ и всякую карту держать въ двухъ мѣстахъ, и мѣста сіи выбирать такъ, чтобы они не сгорѣли вмѣстѣ».

Письмоводитель казённой палаты, осуждённый в пятнадцатом году за подлог.

Отправленный в ссылку в Сибирь.

И вышедший — Морозов проверил это в тот же день — по амнистии в марте семнадцатого, вместе с двумястами шестьюдесятью четырьмя другими.

— Виктор Аркадьевич... — начал он и осёкся: Клементьева не было десятый день.

Он пошёл к Гурьеву.

Гурьев выслушал изложение — двадцать минут, по порядку, — и переспросил только одно:

— Отпечаток пальца, говорите.

— Так точно.

— И по нему нашли?

— Нашли.

Слесарь взял карту, повертел, посмотрел на просвет.

— Это что же, — сказал он, — у всякого человека они разные?

— У всякого, — сказал Морозов. — И не меняются всю жизнь.

— И это давно известно?

— Лет двадцать. В России применяют с седьмого года.

Гурьев положил карту.

— А чего ж тогда, — сказал он медленно, — их в марте сожгли?

Морозов помолчал.

— Оттого, что они лежали в одном шкафу с жандармскими делами, — сказал он.

Прежде задержания Морозов проверил карту вторично — и проверил чужими глазами.

Он попросил Шумского сличить заново, не говоря, что сличал сам, и сличить по восьми точкам, а не по общему виду.

Студент сидел над этим полдня и принёс тот же ответ.

После этого Морозов сделал третье: составил акт.

Акт был на двух листах, за тремя подписями — его, Шумского и приглашённого фельдшера, — и в нём излагалось, как снят отпечаток, каким способом переведён, с чем сличён и по каким признакам совпадает.

— Зачем фельдшер? — спросил Шумский.

— Затем, что он посторонний, — сказал Морозов. — Иван Никитич, в суде нас с вами спросят: а не подделали ли вы сами? И тогда мы предъявим третьего человека, который стоял рядом и подписал.

Тарасова взяли восьмого января, и взяли не его первым.

Морозов повёл дело иначе: он установил, где Тарасов живёт — по адресному столу, заведённому им же в июне, — и три дня наблюдал.

За три дня к нему приходили четверо.

Морозов записывал их приход по часам и составил к третьему дню расписание.

Первый приходил дважды — вечером и утром — и был, судя по всему, при нём постоянно.

Двое приходили порознь, с промежутком в сутки.

А четвёртый пришёл один раз, ночью, в первом часу, и пробыл четверть часа.

Этого четвёртого Морозов отметил особо и после установил: это был скупщик с Барнаульской, тот самый, у которого в ноябре заложили часы Мошкина.

Он не входил в шайку.

Он принимал.

Одного узнали сразу: рослый, лет сорока, из амнистированных, значившийся в картотеке.

Второго — молодого, в шинели — установили через два дня по полковым спискам: рядовой запасного полка Вихров, девятнадцати лет, из деревни под Барнаулом, в полку с шестнадцатого года, ни разу не бывший на фронте.

Наблюдение Морозов вёл сам и вёл впервые за пять лет лично, а не через агентов.

Отчего — записал честно: агентов у него было трое, из них двоих в городе знали в лицо, а третья была женщина и не могла три ночи стоять в подворотне.

Он стоял сам.

Три ночи, с восьми до трёх, в подворотне напротив, в тулупе, купленном на базаре за одиннадцать рублей.

Морозов после отметил, что за пять лет это была самая холодная работа из всех: сибирский январь при двадцати восьми градусах, без движения, семь часов подряд.

На вторую ночь он поймал себя на том, что не чувствует ног, и стал каждые полчаса выходить к соседнему двору и обратно.

На третью пришёл Ерёмин и молча встал рядом.

— Егор Тимофеевич, я вас не звал.

— Не звали, — согласился надзиратель. — А только вам сорок девять лет, а мне сорок восемь, и мёрзнуть вдвоём сподручнее.

Взяли всех разом, в ночь на восьмое, на трёх квартирах.

Обошлось без стрельбы.

Наган — тот самый, из которого стреляли, — нашли у Вихрова под подушкой, и Морозов после установил по номеру, что револьвер числился за запасным полком и был выдан в марте семнадцатого года.

Тарасов заговорил на второй день, и Морозов этого ждал.

Он дал ему сутки нарочно и записал расчёт в тетради.

Человек, взятый утром и допрошенный вечером, отвечает на первом волнении и говорит то, что успел придумать за день.

Человек, просидевший сутки и знающий, что при обыске у него взяли тетрадь с отчётностью за восемь операций, за эти сутки успевает понять, что запираться не в чем.

Расчёт оправдался.

Он был грамотен, вежлив и всё понимал.

Морозов вёл этот допрос по своему обыкновению и начал с того места, где человек считает себя обиженным, — с пятнадцатого года.

— Пётр Никитич. За что вас судили?

— За подлог, — сказал Тарасов.

— Расскажите.

И он рассказал — охотно, как рассказывают о том, что двенадцать раз обдумано.

Казённая палата, девять лет службы, жалованье пятьдесят рублей. В четырнадцатом году, когда начались военные заказы, через палату пошли суммы, каких прежде не бывало.

Он взял.

Не разом: за полтора года — четыре тысячи двести, по частям, подделывая ассигновки.

— И на что?

Тарасов посмотрел на него.

— Александр Петрович, вы ведь ждёте, что я скажу: жена болела, — сказал он. — Нет. Жена была здорова до шестнадцатого года.

— На что же?

— Я купил дом, — сказал Тарасов. — В Курске, на Херсонской. Восемь комнат.

Он помолчал.

— Я девять лет ходил мимо этого дома и всякий раз думал: вот бы мне. А в четырнадцатом году сообразил, что могу.

Морозов записал это дословно.

— Пётр Никитич, — сказал Морозов. — Вы понимаете, что вам будет?

— Понимаю, — сказал Тарасов. — Убийство.

— Стрелял не вы.

— Я сказал «уйми», — сказал он. — Я семь месяцев говорил им, что стрелять нельзя, и на восьмой сказал «уйми». Я, Александр Петрович, сам себя посадил этим словом.

Морозов записал.

— Расскажите с начала.

И Тарасов рассказал.

Он вышел по амнистии в марте — из ссылки, а не из тюрьмы: срок ему шёл поселением, и амнистия его освободила.

В Курск возвращаться было незачем: там его знали.

Он остался в Ново-Николаевске и три месяца искал места.

Места не было.

Бывший письмоводитель казённой палаты, осуждённый за подлог, в семнадцатом году не нужен был никому: в новые учреждения его не брали, в старые — тем более.

— Я, — сказал он, — в июле служил переписчиком за сорок рублей. А фунт хлеба стоил тогда полтину.

— И что дальше?

— А дальше я понял простую вещь, — сказал Тарасов.

Он понял её, стоя в очереди у продовольственной управы, где переписывал бумаги.

Он понял, что в городе никто ничего не может проверить.

— Вы поймите, Александр Петрович, — сказал он. — Я девять лет служил в казённой палате и знаю, как устроена бумага. Бумага действует не оттого, что она правильная, а оттого, что все привыкли, что она правильная.

Он развёл руками.

— А тут привычка сломалась. Печатей пятнадцать, учреждений одиннадцать, всякое пишет что хочет. И всякий обыватель это знает и оттого верит любой бумаге, потому что проверить нельзя.

— И вы стали писать.

— И я стал писать, — сказал Тарасов.

Печать он не крал.

Он объяснил это, и объяснил так, что Морозов записал дословно.

Печать он взял в продовольственной управе, где служил переписчиком, — и не взял, а сделал оттиск: приложил её к листу восемь раз, унёс лист домой и заказал клише в переплётной мастерской, сказав, что это для кооператива.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.